



ГЕОРГИЙ ХОЛОПОВ

# *Долик на Шче*



---

БИБЛИОТЕКА СОЛДАТА И МАТРОСА

---

*ГЕОРГИЙ ХОЛОПОВ*

# ДОМИК НА ШУЕ

*РАССКАЗЫ*

ВОЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО  
МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ СОЮЗА ССР  
*Москва — 1954*

## СОДЕРЖАНИЕ

|                             | <b>Стр.</b> |
|-----------------------------|-------------|
| «Майор музыки» . . . . .    | 3           |
| В ночном . . . . .          | 22          |
| Неизвестный боец . . . . .  | 23          |
| Никита Свернигора . . . . . | 41          |
| Домик на Шуге . . . . .     | 66          |
| На берегу Дуная . . . . .   | 78          |
| Русские солдаты . . . . .   | 81          |

Редактор Алексеев М. Н.

Художник Орлов В. Е.

Технический редактор Слепцова Е. Н.

Корректор Короткова Г.

Г-93271

Подписано к печати 3.12.53 г.

Изд. № 1/6900. Зак.

Формат бумаги 70×108<sup>1</sup>/<sub>32</sub> — 1,38 бум. л.=3,77 печ л 4,95 уч.-изд. л.

7-я типография Управления Военного Издательства  
Министерства Обороны Союза ССР

## «МАЙОР МУЗЫКИ»

Майор интендантской службы капельмейстер Миронов, которого солдаты шутя называли «майором музыки», флейтист Зубенко и валторнист Стариков возвращались в дивизию после четырёхмесячного лечения в тыловом госпитале и двухнедельного, почти санаторного отдыха, предоставленного им уже в районе действия нашей армии. Все они были участниками ноябрьских боёв у прионежских боёв и героями этих боёв. Заслуги их были большие перед дивизией, а потому командование устраивало встречу, чаепитие и приуроченное к этому дню вручение правительственных наград трём музыкантам.

Капельмейстер Миронов в боях получил двадцать шесть осколочных и два пулевых ранения; Зубенко был ранен в голову, в ногу, и три осколочные раны у него были в плече; у Старикова было больше десятка средних и мелких осколочных ран и одна пулевая, лёгочная. Эти три музыканта боролись с врагом с таким упорством, с такой смекалкой и с таким мужеством перенесли ранения, что ими восхищалась вся армия.

Возвращение героев в строй отмечала и наша газета, от которой я был корреспондентом. Она напечатала портреты Миронова, Зубенко и Старикова. Посвятила им две статьи. Написать же о них очерк было поручено мне.

Я выехал в дивизию. До штаба пробирался четверо суток: где на попутных машинах с боеприпасами и продуктами, где на двухколёсных карельских лесных телегах, где

верхом на тощих и голодных конях. Большую же часть пути я брёл пешком, потому что таяли последние почерневшие снега и дороги в этом лесном болотном крае были почти непроходимы. Устал я очень, проголодался, продрог, вода хлюпала в моих сапогах, и шинель на мне была мокрая и грязная. Но путешествие моё не кончилось: торжества, ради которых я с таким трудом пробирался сюда, оказывается, были перенесены непосредственно в полк, в котором служили Миронов, Зубенко и Стариков, и теперь мне вместе с ними предстояло ехать туда, в сибирский Н-ский полк, который стоял у чёрта на куличках, среди болот и топей, за сорок километров от штаба дивизии, втрое дальше других полков...

Утро было холодное, промозглое. Изредка моросил дождик.

Первыми вслед за мной к конюшням транспортной роты пришли Зубенко и Стариков, нагруженные вещевыми мешками и фанерными чемоданами. Потом появился ездовой со своей телегой. Не было видно только «майора музыки» Миронова.

Зубенко и Стариков расположились под сосной и неторопливо возились со своими чемоданами, набитыми книгами, нотами, пластмассовыми портсигарами, зубными щётками, кисетами, блокнотами, конвертами и всякой другой мелочью, которую везли из тыла своим товарищам из музыкантской команды; сортировали и пересчитывали эти подарки, делая какие-то метки на них, перекладывали из чемодана в чемодан бутылку спирта, завернутую в новые ватфельные полотенца, шутили и тихо переговаривались между собой, счастливые и всё ещё возбуждённые от вчерашнего приёма у командира дивизии. Их, простых солдат из музыкантской команды, генерал принял, как прославленных героев. Было от чего быть счастливыми!

Ездовой, задав коням корм и навалив на телегу гору сена, чтобы не очень нас трясло в дороге, спал, растянувшись на сене, а его прожорливые и жадные кони, которых в это

весеннее, голодное время года никак нельзя было накормить досыта, брели вдоль ограды, волоча за собой телегу, выискивая в разорванной земле первую бледнозелёную травку.

В конце ограды показался Игнат, командир транспортной роты. Это был рыжебородый старик, бывший колхозный конюх.

— Так «майор музыки» не поедет с вами, товарищеграждане! — прокричал Игнат. — Поезжайте одни! Только звонили от генерала! Сказали, что ещё ночью майор ушёл в полк. Как он доберётся до места — бог один знает!.. Так что — езжайте!

Зубенко и Стариков сразу же покосились в мою сторону.

«Это, видимо, из-за меня он не захотел ехать на телеге, — подумал я. — Станный человек!.. Ушёл в полк ночью!.. По этим дорогам и днём не пройти!»

— А что так? Как это он не с нами? Мы ведь уговорились ехать вместе... — начал было Стариков.

Но его перебил Зубенко:

— Не знаешь Николая Ивановича? Впервые с ним имеешь дело? Едем!

Они собрали свои подарки, упаковали чемоданы, и мы пошли к телеге.

Но не успели мы выехать за шлагбаум, как позади раздался голос:

— Эй, стой, эй, подожди!

За нами бежали Игнат и какой-то солдат с духовым инструментом за плечом.

— Ну, нам сегодня не уехать отсюда! — Ездовой придержал коней.

— Никак это Волков бежит!.. — сказал Зубенко и толкнул приятеля в плечо.

— Приятный попутчик, нечего сказать... — недовольный, пробурчал Стариков.

— Что — он тоже из вашей музыкантской команды? — спросил я.

— Был, да «ушли» его. Таких у нас не держат. Типчик же, должен вам сказать, товарищ капитан! — ответил Зубенко.

Игнат и музыкант добежали до телеги.

— Велено вот трубача из соседнего полка отправить заодно с вами, — еле переводя дыхание, сказал Игнат. — Он и поедет за ездового. Дорога тяжёлая, кони надорваться могут. Меньше людей — быстрее езда. Слезай! — крикнул он на обескураженного ездового.

— Так чего же кричать — я и так слезу, — явно обиделся наш ездовой. — Эка охота трястись в такую даль! — Он вытащил из-под сена винтовку, вещевой мешок с продуктами и стал искать котелок.

— Слышь, Волков! — обратился Зубенко к баритонисту. — Зачем едешь к нам в полк?

— А известное дело, придет генерал, в полку будет праздник в вашу честь, а одного трубача и не хватает в оркестре, — ответил за Волкова Игнат. — Погиб, говорят. Ну, малый, садись! — прикрикнул он на баритониста. — Только про лыжи не забудь.

— Кто погиб, что ты говоришь, отец? — спросил Зубенко. — Что он говорит, Волков, кто погиб?

И Стариков привстал на колени, уставившись неподвижным взглядом в баритониста.

— Виктор Симонов не вернулся из разведки... Позавчера они ходили за «языком»... Говорят, налетели на фугас... Ранило троих, двоих — вытащили, а Виктор остался там... Был человек — и не стало человека! — усмехнувшись, меланхолично ответил Волков, переложив баритон с плеча на плечо.

— Слезай?! Ишь ты... — сердито ворчал наш ездовой. — Была бы ещё дорога, как на Сочинском шоссе, да и кони подходящие, тогда бы ещё туда-сюда, стоило бы съездить на праздничек. А то ведь и дорога, упаси господи, ка-

кая дрянь, и кони что сонные мухи, на первом же километре выдохнутся! Коня-то без рыси! — вдруг загоготал он, найдя свой помятый и закоптелый котелок.

— Я тебе дам «без рыси»! Будешь ты у меня ещё агитацию разводить! — пригрозил ездовому Игнат. — Садись, малый, — сказал он баритонисту. — Только коней обратно зря не гони, прихвати у старшины сотню лыж.

Новый наш ездовой сел в телегу, бережно положил рядом с собой баритон, стегнул коней и скорчил гримасу Игнату:

— Буду я тебе ещё лыжи возить! Ищи дурака!

— Ну, ну! — замахал руками и остановился в изумлении старик. — Смотри! А то у меня разговор короткий: сведу к генералу — и делу конец!

Но кони весело взяли с места, телега затарахтела на гати, и путешествие наше началось.



— Значит, Виктор погиб?.. Вот беда! — Зубенко растерянно улыбался, не зная, как вести себя на людях при известии о трагической смерти товарища.

— Как это их всё же угораздило попасть на фугас?.. Не маленькие, не в первый раз, кажется, ходили в разведку!.. — сокрушённо качая головой, сказал Стариков.

— Самое удивительное во всей этой истории другое, — обернулся к нам баритонист. — Через полчаса же наша группа захвата вернулась за Виктором, но того уже не оказалось на месте. И фашисты вряд ли могли его захватить, — наша артиллерия сразу же отсекала весь этот район от переднего края противника...

— Но удивительно и другое! — перебил его Зубенко. — Весь вечер мы сидели у генерала, народу всякого было у него полно, и никто из вас ни одним словом не обмолвился о Викторе!.. Ведь он был наш товарищ, сам знаешь, который год мы служили вместе.

Вы же герои! — с усмешкой ответил баритонист. — Именинники! Вот и не хотели портить вам настроения.

— А Николай Иванович знал?

— Ему, кажется, кто-то сказал.

— Ну, теперь понятно, почему он сидел такой хмурый у генерала! Теперь всё понятно!.. Понятно, почему он и с нами не поехал, — сказал Зубенко.

— И ничего не понятно! — Стариков пожал плечами. — Зачем в полк было идти ночью? Мог бы и утром.

— Понятно, понятно, — сощурившись, потирая себе подбородок, загадочно проговорил Зубенко. — Николай Иванович переживает... Тяжело ему... Виктора он любил, как сына родного... Мальчиком он ведь взял его к себе в оркестр, сиротой ведь был Виктор!..

— Чепуха всё это! — махнул рукой Волков. — Сентиментальности! Майор ваш не из тех людей, которые переживают или ещё что-нибудь там...

— Он — железный человек, это правда, — после наступившей паузы сказал Стариков. — И сентиментальности к нему не подходят.

— Ну, то-то! — не без удовольствия протянул Волков. — А то у вас майор и такой, и сякой, хоть икону с него пиши!

Желая переменить тему разговора, Стариков сказал:

— И всё-таки мне непонятно, почему он не поехал с нами?

«Из-за меня он не поехал на телеге, — хотелось мне ответить ему. — Не любит ваш майор военных корреспондентов, это всей нашей редакции известно. Побоялся, наверное, что всю дорогу я буду донимать его всякими вопросами и расспросами, вот и не поехал!»... — Но я сказал:

— Герой-героем, а чудаковатый у вас «майор музыки»... Генерал поедет только вечером, а другого транспорта в полк больше не ожидается. Как же майор доберётся до места? Ему же в полку надо быть раньше всех! Сыгровка оркестра и всякое другое. Вы герои торжества, но вы и музыканты!

Редкий случай, правда, но вам же и придётся играть на празднике? Без музыки ведь не обойтись? Что, не так ли?

Зубенко загадочно улыбнулся, сказал:

— Николай Иванович своё дело знает.

— Это точно, — поддержал его Стариков. — К тому же у него вряд ли бы хватило терпения сидеть вместе с нами в телеге и трястись на гати. Он у нас даже по хорошим дорогам редко ездит.

— Ну, а что — летает он? Как же без дорог?

— Зачем летать? — ответил Зубенко. — Он выбирает наикратчайший путь между двумя точками и идёт по азимуту. Вот, скажем, до нашего полка по дороге сорок километров, а если идти по прямой, через лес, будет семнадцать. Как же выгоднее идти: так или этак? Конечно, через лес, если в нём не заблудиться.

— Но кругом болота и лес непроходимый!..

— Это для нас с вами, простых смертных, товарищ капитан. Для него это просто условности.

— И даже ночью?

— И даже ночью! Когда мы приедем в полк, он уже будет там. И оркестр будет готов к «бою».

— Чепуха! Здесь и по дороге вряд ли пройти!

— Не спорьте, товарищ капитан, — сказал Стариков. — Вы так мало знаете нашего Николая Ивановича.

— Думаете?

— Тут и думать нечего. Ведь вам же не приходилось с ним служить?

— По-моему, вам всего-навсего и удалось минут пять поговорить с ним, — обернувшись ко мне, сказал баритонист. — Я слышал разговор Миронова с командиром дивизии, из чего это и заключил. Знаете, что он ответил генералу, когда тот сказал: «Вам оказывается большая честь, с вами в полк поедет специальный корреспондент, он опишет в газете вашу геройскую жизнь, расскажет, как вас приняли после долгого отсутствия однополчане»... — Он

ответил, что ещё ничем не проявил себя на войне, а когда проявит — сам возьмётся за перо!.. Это он-то не «проявил»!.. Вот старый лицемер!

Зубенко, кивнув на баритониста, сказал:

— Вы его не слушайте, товарищ капитан; майора он не очень-то любит.

— С чего бы это?.. — заинтересовался я.

— У него есть причины.

— И не маленькие! — сказал Стариков, подмигнув мне.

— Да, я не люблю непонятных, исключительных людей, — не оборачиваясь, со злостью в голосе сказал баритонист.

— А он — непонятный, исключительный? — спросил я.

— Да, его не сразу раскусишь, — сказал Зубенко.

— Первая стычка у меня с ним произошла вот по какому поводу, товарищ капитан, — хлестнув коней, снова обернулся ко мне баритонист. — Прихожу, так сказать, заниматься к нему в оркестр. Он спрашивает у меня не про музыку, а про сердце, про лёгкие, ну, как какой-нибудь врач. Потом — про ноги. — «Как у вас ноги?» — «Что ноги?» — не понимаю я. — «Крепки ли вы на ноги, как долго можете ходить?» — Я совсем ещё не знал его и говорю: «Слабоваты малость да и ревматизму подвержены», — и начинаю, дурак, ещё объяснять, как с осенними дождями начинается ломота в ногах и всякое такое. Тогда он хмурится, встаёт и говорит: «Извините, но музыканты со слабыми ногами мне не нужны!» — Как я ни просился к нему в оркестр — ничего не помогло!.. Полгода из-за него пришлось поработать администратором в клубе. Вот что это за человек!

— Солдат! — сказал Зубенко.

— Солдат, солдат! — Стариков заёрзал на сене, счастливо улыбаясь, готовый слушать баритониста, история которого, видимо, была небезинтересна.

— Ну, и что же дальше? — спросил я.

— Дальше?.. А дальше в оркестре заболел первый баритонист, и он волей-неволей был вынужден взять меня к себе, хотя и поставил условие: «Заняться ногами!» Ну, и пришлось мне после этого в день километров десять, а то и больше, знаете, как на кроссе, бегать взад и вперёд по плацу.

Зубенко и Стариков расхохотались.

— Вот им смешно, вспомнили поди... — смутился баритонист. — И действительно смешно! — теперь уж сам расхохотался он. — Но эта беготня по плацу всё же была чепухой. Если бы вы знали, что он проделывал с нами на учениях! Ежедневно 30—40-километровые марши, а потом — заведёт нас куда-нибудь в глушь, где и дорог-то нет, и скажет: к такому-то часу быть там-то и там-то, и сам скроется, как дух лесной. Ну, и плутаем мы день-два по тайге.

— Да, тяжёлые были те времена, — согласился Зубенко.

— Жуткие! Я, например, и полгода не выдержал, попросил перевода в соседний полк. А как страдал из-за него наш покойный Виктор Симонов, о котором Зубенко говорит, что майор «любил его, как сына родного»! Я хорошо помню, с какими ногами ходил Виктор! Не дай бог иметь такого «папашу»!

— Да, гонял он его здорово, — вновь согласился с Волковым Зубенко, — хотя и души в нём не чаял.

— Всё это красивые слова!.. Любил, жалел, чаял!.. — снова махнул рукой баритонист. — Вы лучше расскажите товарищу корреспонденту, как ваш майор мучил Симонова, как гонял его каждый день на стрельбище! Расскажите, расскажите!.. — Волков развёл руками. — Ну, зачем музыканту быть сверхметким стрелком? Не пойму!

— Где уж тебе понять! — не без сожаления сказал Стариков. — На войне всё это и понадобилось.

— Нет уж, увольте от такой чести служить в вашем оркестре!.. Музыканты у вашего майора должны быть и снайперами, и скороходами, и разведчиками, и спортсменами, и

охотниками, и бог ещё знает кем! Ну, какое это имеет отношение к музыке?

— Самое прямое, — спокойно ответил Стариков.

— Прямое? Смеёшься!.. А что ваш майор проделывал в оркестре? — не мог успокоиться Волков. — Пятую симфонию Бетховена разучивали месяца четыре. Даже после десятка концертов продолжали её разучивать. Иногда весь день повторяли один и тот же такт. И для чего, спрашивается, в военном оркестре такое совершенство?!.. — Он вздохнул: — Да, мучитель он страшный!..

— Он серьёзный музыкант, — сказал Стариков. — И оркестр наш потому и был самым лучшим на Дальнем Востоке. Что — не так разве?

— Так-то оно так, — поморщился наш «ездовой». — Но какой смысл в воинской части так чисто отделять вещи? Где-нибудь в Большом театре — это понятно. А у нас и так сойдёт. Солдату нужны марши и барабанный бой.

— Ну, с этим я не согласен, братец, — протянул Зубенко. — К тому же в Большом театре нет духового оркестра.

— Ну, симфонический, не всё ли равно!

— Нет, не всё равно, — сказал Стариков.

Тут наша телега по самую ось завязла в грязи, и нам пришлось слезть, помочь коням. Разговоры сами собой прекратились. Потом мы метров пятьсот прошли пешком, перепрыгивая с кочки на кочку, прежде чем вновь сели в телегу. Брёвна так и хлюпали под колёсами, обдавая нас липкой болотной грязью. Баритонист отчаянно ругался, проклиная на чём свет стоит и эту дорогу, и этот лес.

\* \*  
\*

В каждый свой приезд в дивизию я от солдат и офицеров слышал много рассказов про «майора музыки». Имя Николая Ивановича Миронова было овеяно легендой. Судя по этим рассказам, майор был тонким ценителем музыки и

великолепным капельмейстером; метким стрелком и удивительным охотником; опытным лесным следопытом, что делало его незаменимым разведчиком в карельских лесах.

Но наряду с этим о нём можно было услышать и много другого, и дурного. Обычно это исходило от его недоброжелателей и завистников. Особенно усердствовал в распространении всякой клеветы на майора капельмейстер соседнего полка Севастьянов, у которого служил баритонист Волков. Какие только небывицы он не рассказывал про Миронова!.. Но клевета, как оружие, было бессильно против «майора музыки». У Николая Ивановича были крепкие нервы и железное здоровье. Даже на фронте он продолжал заниматься спортом и вёл суровый, спартанский образ жизни. Рассказывали, что он шутя может разогнуть подкову, пройти без отдыха сто километров, днями крошки в рот не брать.

Но особенно много рассказывалось о нём, как об охотнике. Сам «майор музыки» мяса в рот не брал, хотя за сезон, в мирное ещё, конечно, время, промышлял столько дичи и зверя, сколько никогда не снилось всем охотникам дивизии, вместе взятым. В этом признавались сами охотники. В отпускное время на охоту Николай Иванович выезжал... на велосипеде!.. Велосипед у него был удивительно выносливый. Нагрузит он на него провизии на неделю, захватит с собой чайник, котелок, топор, пристроит сбоку велосипеда раздвижную лестницу (это для удобства, ведь в камышах и кустарнике не сразу разыщешь диких коз!), устроит в корзине на багажнике охотничью собаку — и исчезнет из дивизии...

Я знал, что Миронов сын лесника, с детства увлекался музыкой, ещё мальчиком поступил в военно-морское отделение при Петербургской консерватории, закончил его в 1916 году и до 1921 года прослужил в Кронштадте. Потом он три года учился в классе военных капельмейстеров, по окончании уехал в Сибирь, где и безвыездно служил в Н-ском полку.

С полком Миронов и приехал в октябре 1941 года на Карельский участок фронта.

Здесь он в первые же дни всех в дивизии удивил тем, что велел своим оркестрантам «на время» запрягать инструменты и «заняться войной». Музыка и война! В умах многих, живущих в первые месяцы войны ещё мирным временем, его поступок расценивался чуть ли не как святотатство. Но Миронов молча делал своё дело, и работа у него спорилась. Его ученики, вчерашние валторнисты, трубачи, баритонисты, барабанщики, басисты, становились разведчиками, лесными следопытами, и вскоре они уже охотились на «кукушек», брали «языка», одного поймали даже с приказом самого барона Маннергейма.

Но всё это было мелочью по сравнению с тем, что Миронов совершал потом. В многодневном бою от полка был отсечен третий батальон. Пользуясь превосходством артиллерии и миномётов, враг теснил наших бойцов, окружая батальон.

Лес был девственный, в болотах, кишел финскими «кукушками» и «лягушками», и первые смельчаки, которые попробовали было в него сунуться и связаться с батальоном, поплавились жизнью.

Четвёртый день бойцы батальона голодали в окружении. У них кончались и боеприпасы. Фашисты уже готовы были праздновать победу. Но спасти батальон вызвался Миронов. Он повёл свою музыкантскую команду не тропинками, а лесной чащей, где деревья стояли стеной и кустарник казался непроходимым. Их встретили «кукушки». Чуткий на слух, «майор музыки» по первому же выстрелу определял местонахождение автоматчиков. Музыканты отвлекали их на себя, а он снимал с дерева незадачливую «птицу». Так Миронов пробился к батальону.

Дорога была проложена. Он вернулся назад, добрал к своей музыкантской команде до взвода сапёров и до взвода стрелков, все они нагрузились продуктами и боеприпасами и тронулись в путь. Поход этот был дерзок, и успех его ре-

шился только тем, что он проходил под начальством Миронова.

Батальон надо было насытить пищей и боеприпасами и лишь потом выводить из окружения. Четыре рейса с боями делал отряд на дню туда и обратно. Бойцы падали от усталости, но впереди шёл Миронов. И они следовали его примеру: мужество этого человека поражало их! Они следовали за ним даже тогда, когда на дорогу обрушилась артиллерия противника, изрубив лес в щепки. Но они прошли и сквозь этот ад!.. За семь дней батальон был обеспечен всем необходимым и пробился сквозь вражеское кольцо.

Что я знал о втором подвиге Миронова? Кроме легенд, ничего. Когда в ноябре прошлого года я приехал в дивизию, то бои в районе прионежских болот уже затихли и капельмейстер в тяжёлом состоянии был эвакуирован в глубокий тыл. Были в тыл эвакуированы почти и все его музыканты, получившие в боях тяжёлые ранения. Так что узнать тогда что-либо о «майоре музыки» от непосредственных участников боёв мне не пришлось.

А теперь не просто участники, а живые герои этих боёв Зубенко и Стариков сидели рядом со мной...

Зубенко было лет двадцать семь. До армии он служил счетоводом в колхозе. Это был широколицый, краснощёкий, крепко сбитый парень. Когда-то, подпаском, он играл на пастушечьем рожке и дудочке. В музыкантской команде у Миронова он полюбил флейту, стал флейтистом.

Стариков был года на три старше Зубенко. По профессии он был металлистом, на заводе начал работать чуть ли не мальчиком, знал слесарное и токарное дело. На валторне играл ещё в заводском оркестре и в армию пришёл уже неплохим музыкантом.

Я спросил о ноябрьских боях, о «майоре музыки».

Езда по этой дороге так измучила Старикова, что он, если и не спал, то по крайней мере сладостно дремал и на мои расспросы ответил не совсем вразумительным взглядом сонных глаз.

Ответ пришлось держать Зубенко. Но он сделал такое страдальческое лицо, точно у него заныли зубы...

— А что, если про нашего майора я расскажу вам потом? Когда прибудем в полк?.. От тряски у меня голова кружится и колет под лопатками. — Зубенко растормошил Старикова. — По такой дороге мы в полк вряд ли попадём и завтра. Не лучше ли пойти пешком? К вечеру тогда бы добрались до места.

— Ничего, помаленьку и доедем, — сквозь дрёму ответил Стариков. — Спи...

Я и Зубенко слезли с телеги и пошли обочиными дороги. Вскоре нашему примеру последовали и Стариков с баритонистом. Кони наши теперь одни плелись позади.

Мы шли по болоту, и ноги у нас вязли в болотной жиже. Изредка в пути нам попадались бугорки—островки с гроздьями клюквы, выглядывающей из мха, и тогда мы устраивали минутный привал, переводили дыхание и снова шли.

Дорога вскоре круто повернула вправо. Теперь она шла параллельно переднему краю, до которого, правда, было ещё далековато. Это был район гибельных болот, топей и заболоченного леса. Деревья здесь стояли голые, как телеграфные столбы, или почерневшие, с облезлой корой и погнившими ветками. В лесу была мёртвая тишина. Даже лягушки не квакали в болотах. Жутко было идти по этим местам, хотя они в то же время являлись естественным и надёжным рубежом обороны на стыке двух полков.

И вот мы шли по этому заболоченному лесу, как вдруг вдали увидели неизвестного человека, идущего с тяжёлой ношей через болото: он нёс кого-то на спине...

Первым вперёд бросился Зубенко. Вслед за ним побежал Стариков. Потом побежали мы с баритонистом.

Каково же было наше изумление, когда «неизвестным» оказался «майор музыки» Мионов!

Но кого он нёс на спине?

Нам суждено было ещё раз изумиться: это был раненый в разведке Виктор Симонов!

Так вот почему майор не поехал вместе с нами на телеге!

Зубенко и Стариков уже несли на руках раненого товарища.

Симонов выглядел ужасно. Раненный в ноги, почерневший, мокрый, он весь дрожал от озноба, у него зуб на зуб не попадал.

Ужасно выглядел и Миронов. В высоких болотных сапогах, в ватнике, он с ног до головы был в липкой болотной грязи. Крупные капли пота стекали по его лицу. Глаза его казались безумными от усталости.

Я взял майора под руку. Он еле держался на ногах.

В стороне от дороги, на поросшем мхом бугре, мы растелили плащ-палатку. Осторожно опустили на неё раненого разведчика. Рядом прилёг Миронов. Зубенко побежал к телеге за фанерными чемоданами, а мы со Стариковым и баритонистом бросились искать сухих веток и валежника.

В какие-нибудь десять минут мы набрали по охапке веток, и баритонист принялся разводить костер. Прибежал с двумя тяжёлыми чемоданами Зубенко, раскрыл их и первым делом дал Симонову и Миронову по полстакана спирта. Потом вместе со Стариковым они быстро раздели Симонова, обмыли спиртом его раны и перебинтовали его чуть ли не всего вафельными полотенцами.

Зубенко выложил на плащ-палатку содержимое двух вешевых мешков с продуктами. Стариков налил ещё немного спирта Симонову. Тот выпил, поперхнулся, взял кусок колбасы и ломоть хлеба, стал есть и плакать. Он был голоден страшно и продрог, видимо, основательно. Мучительно болели и его раны.

Стариков заботливо накрыл его своей шинелью. Второй шинелью накрыл его Зубенко.

Миронов почти что не прикоснулся к пище. Он только взял корочку хлеба, пожевал её и снова прилёг, на этот раз

поближе к костру. До этого он мне казался необыкновенно молодым для своих сорока пяти или пятидесяти лет. Но тут, сидя рядом с ним, я увидел и морщины на его лице, и седины на висках...

Зубенко не смог скрыть своего восхищения, сказал во всеуслышание:

— Ведь случилось, товарищи, чудо: все считают нашего Виктора погибшим, а он вот сидит рядом с нами!

— Глупости говоришь, — сердитым голосом перебил его Миронов. — Какие могут быть чудеса в этих болотах?

— Но ведь Виктора — вы спасли?

— Опять говоришь глупости!.. Сообразительность его спасла. Он просто догадался отползти в болота, где его трудно будет найти противнику. Не сдаваться же ему было в плен?.. Ведь я вас, чертей, и в мирное время, и на войне учил ничего не бояться на свете, буквально ничего!.. Ни леса, ни болота, ни самого чёрта!.. Ведь это — правда?

— Правда, — сказал Зубенко.

— Я выбился из сил и кровью истёк, когда вдруг услышал знакомый крик филина. Ведь так умеет кричать один лишь наш Николай Иванович. Вот уж обрадовался я, братцы! — Симонов сделал резкое движение, и лицо его страдальчески поморщилось от боли. — Отрежут ноги, а? — с мольбой в голосе обратился он к Миронову.

— Правую — да, а за левую можешь быть спокоен, — всё тем же сердитым голосом ответил «майор музыки». — А всё решил точный расчёт, друзья. Из дивизии я вышел ночью. На рассвете был в болотах. Часа три у меня ушло на поиски, я обшарил весь район, прилегающий к финскому переднему краю и, как видите, удачно...

Симонов добавил существенную подробность к рассказу капельмейстера:

— Я лежал на виду у гитлеровцев... Они с ночи охотились за мною... Сунуться в болото побоялись, там трясина, а вот обложить меня, как зверя в берлоге, обложили, и головы не давали поднять... Правда, и я их близко к себе не

подпускал, автомат да три диска к нему тоже что-нибудь значат...

Пока Симонов рассказывал, майор уже крепко спал.

— Устал он, — сказал Симонов. — Ползком вынес меня из болота на виду у финнов и до самого этого места пронёс на себе. Ведь это что-нибудь да значит! — Он немного опьянел и говорил теперь на крике.

Стариков подвёл коней к самому бугру, на котором мы располагались. Мы осторожно подняли Симонова, усадили его в телегу, обложив со всех сторон сеном. Рядом с ним сел баритонист.

— Теперь прямичком поедem в госпиталь, — сказал Зубенко. — Считай, что твоё дело теперь в шляпе.

— Спасибо, ребята, — поблагодарил Симонов и прослезился.

Мы распрощались с ним, и телега наша затарахтела на кочках и корягах.

Я и Стариков набрали ещё веток и сели у костра. Мы курили, и Стариков рассказывал о ноябрьских боях у прионежских болот. Потом я спросил у него:

— Вот вы давно служите вместе с майором. Не знаете ли в его характере какие-нибудь другие чёрточки, кроме героических? Какие-нибудь другие примеры из его жизни?

Стариков задумался. Видимо, я задал ему трудную задачу.

— Что же о нём рассказать? — Он пожал плечами и тяжело вздохнул. — Вот в картишки любит играть, в преферанс. Может сутками не выходить из-за стола. Потом... потом... Что же о нём ещё рассказать? — Он снова пожал плечами и покосился на спящего капельмейстера. — Порядок любит с деньгами. Взял — верни. Хотя бы это был гривенник! Не отдашь — напомнит, даже при людях, не постесняется. Но не скупой. При нужде — сам поможет.

— Ещё! — сказал я, с интересом слушая Старикова.

— Ещё?!.. Вот задачу задали мне!.. Вспомнил! — вдруг хлопнул он себя по лбу. — Жены боится — вот беда!

— Да ну! — сказал я. — Такой храбрый человек и...

— Ей-ей! — горячо прошептал Стариков. — Она у него такая маленькая, невзраченькая, ходит вот с такой копной волос на голове, и злющая... что ведьма! Никого не боится наш майор. Ни зверя, ни чёрта, ни фашиста, а перед нею — трепещет!

— Трепещет?

— Да что там трепещет!.. Теряет дар речи!.. Вот штука-то какая!

— А ещё?

Стариков долго сидел, задумавшись.

— Пирог любит с капустой. Может есть каждый день! — Он улыбнулся. — А к чему вам всё это, капитан?

Теперь он мне задал трудную задачу.

— Видите ли, — сказал я, — мне надо написать очерк для газеты. Про Зубенко и про вас мне ясно, что и как писать, а про майора — не совсем. Уж очень он идеальный человек, очень героический! Героический до неправдоподобия! Сознаться, мало кто поверит в этот эпизод со спасением Симонова!

Я попробовал нарисовать ему картину: ночь, темень, не видать ни зги, моросит дождичек, кругом — лес, и майор идёт за десяток километров искать в болотах раненого музыканта...

— Или взять другой эпизод, — сказал я, — бои у прионежских болот, о которых вы только что рассказывали, где он получил двадцать шесть ранений!.. Или эпизод со спасением окружённого батальона!..

— Да кто не поверит? — чуть ли не возмутился Стариков. — Ведь это же всё правда?

— Конечно, правда, — согласился я. — Но правда — исключительная.

— Потому-то вы и спрашивали про другие чёрточки характера нашего майора? Хотели ими «разбавить» его исключительный героизм? Его исключительный характер?

Мне показалось, что Стариков с презрением посмотрел на меня.

Я не знаю, к чему бы привёл наш разговор, но в это время в лесу послышался скрип колёс, потом — громкие голоса. Вскоре у нашего костра остановился обоз: то в полк везли боеприпасы. Ездовые, все усатые дядьки, густо дымили цыгарками и с любопытством смотрели на спящего Николая Ивановича. От Зубенко или от самого Виктора Симонова они уже знали про его новый подвиг.

Потом обозники уехали, и их место заняли артиллеристы.

Уже наступил вечер, а к нашему костру подъезжали всё новые и новые группы солдат и офицеров. Дорога в полк лежала мимо нашей стоянки.

Поздно вечером у костра остановился вездеход командира дивизии. Генерал вышел из машины размять ноги, закурил трубку, потом подсел к нашему костру. Это был грузный, высокий, плечистый человек лет пятидесяти. В армию он пришёл простым красноармейцем, в дни гражданской войны. Он был генералом, но на всю жизнь остался всё тем же простым, храбрым и отзывчивым солдатом. В дивизии его любили, как отца родного.

Он долго задумчиво просидел у костра. Хотел было разбудить капельмейстера и увезти его в полк, но, видя, как тот крепко спит, сказал:

— Жаль будить. Пусть спит. А праздник мы перенесём на завтра.

«Правильное решение», — подумал я.

Генерал заботливо накрыл майора своей шинелью и уехал.

Даже на рассвете, когда нас стала пробирать дрожь от холода, мы не решались разбудить Николая Ивановича, чтобы тронуться в дорогу.

А он спал богатырским сном, этот удивительный «майор музыки», навалившись грудью на землю и обхватив её своими сильными, широко раскинутыми руками.

---

---

---

## В НОЧНОМ

Ездовой наклонился ко мне и, позёвывая, проговорил: — Хорошо бы здесь где-нибудь заночевать, а? Места-то какие! Чистейшей воды Швейцария!

Он это сказал таким тоном, будто бы и на самом деле когда-нибудь бывал в Швейцарии.

С утра мы были в пути. Ехали всё по гати. Дорога проходила то по болотам, то терялась в лесной чаще, и измори́вшиеся, голодные кони еле волочили избитые ноги. Да и нас изрядно измучила гать. Едешь точно по шпалам. Невесёлая штука гать, — пешим ли бредёшь по ней, на коне ли тащишься, или вот, как мы сейчас, едем на телеге.

Впереди было ещё добрых пятнадцать километров пути, время — позднее, хотя ночь была белая, когда вожак колонны остановил свою телегу и сердито крикнул:

— Здесь, что ли?

— Здесь! Трава в этих местах нетронутая! — отозвался в конце колонны весёлый, звонкий голос.

— Ну, вот и в ночное! — обрадованно сказал мой ездовой Тимофей Дрожжин. — С утра пораньше тронемся дальше и к полудню будем в Чёрт-озере... Коней накормим сами малость отдохнём. Шутка ли сказать, пятую ночь не спим. А ну, милые! — ласково прикрикнул он на коней и задёргал вожжами.

Передняя телега, тарахтя на брёвнах, свернула с дороги, за ней свернули все остальные двенадцать телег с боепри-

пасами, и, проехав метров двести по узенькой просеке, мы очутились на большой поляне.

Ездовые распрягли коней, стреножили их и пустили в высокую траву. Потом они дружно и быстро набрали сухих сучьев, сосновых шишек и развели костёр. А сами ушли к своим телегам.

Я подсел к костру. Вскоре ко мне подошёл ездовой не то с десятой, не то с двенадцатой телеги. Он участливо спросил, не холодно ли мне, не возьму ли я у него шинель — ночь-то свежая; потом протянул кисет. Мы закурили. Ездовой осведомился, из какой я области и, узнав, что не из Ростовской, вздохнув, сказал:

— Земляков моих в этих местах не видать!

— Они, наверное, воюют на Северном Кавказе или в Крыму, — сказал я.

— Может быть! Скорее всего оно так и есть, — согласился он. — А меня вот судьба забросила в Карелию, в эти лесные дебри...

Слово за слово, как это бывает только на войне, ездовой рассказал мне всю свою жизнь.

Удивительно, как просто он завязал разговор и сумел заставить себя слушать! Жизнь у него была несложная и ничем не примечательная. Но одно красной нитью проходило в его рассказе: это счастье зажиточной жизни... Было видно, что немало горя хлебнул он в одиночестве... Когда он повествовал о последних предвоенных годах в колхозе, о колхозных фермах, о клубе, о новой школе, о стоимости трудодня, — в сороковом году он вместе с семьёй на трудодни получил больше четырёхсот пудов хлеба и денег около шестнадцати тысяч рублей, — с ним чуть ли не стало плохо.

Ездовой назвал свою фамилию — Славгородский, ещё что-то сказал о себе, потом встал, пошёл к телеге, стоявшей на краю поляны, и, сдернув с ящиков брезент, закутался в него и лёг спать на траву.

К костру сразу же подошли остальные ездовые нашей колонны. Они, видимо, нетерпеливо дожидались, когда уйдёт Славгородский, и теперь торопливо подбрасывали в огонь валёжник, подвешивали на треногу закоптелое, помятое ведро с ключевой водой, развязывали свои походные вещевые мешки, готовясь к скромному ночному солдатскому пиршеству.

— Ну, как?.. Не замучил он вас? — спросил мой ездовой Тимофей Дрожжин.

— Нет, ничего. Про свою жизнь рассказал.

— Да он, чудак-человек, всем про свою жизнь рассказывает! — Тимофей Дрожжин улыбнулся, покачал головой. — Мне, пожалуй, раз десять рассказывал.

— Да и мне не меньше, — сказал парень с весёлым голосом, тот, что кричал в ответ жожаку: «Трава в этих местах нетронутая».

— Это бывает на войне. Бывает вот так, что ни с того, ни с сего захочется новому человеку о своей жизни поведать, о счастье своём, — сказал я.

— А какая у него была жизнь, счастье-то какое? — иронически спросил парень с весёлым голосом.

— У каждого своё... У него — сытая, зажиточная жизнь в колхозе.

— Тоже удивить чем хотел! Будто мы хуже жили! Может, я в месяц две тысячи зарабатывал, имел дорогие костюмы, учился играть на рояле, в институт готовился? Как знать, а?..

И тогда позади раздался тихий, печальный голос:

— Может, я ночи не спал, работал, не разгибая спины, голодал и холодал, но был счастливее вас всех...

Я обернулся и встретился с лихорадочным взглядом ездового с пятой телеги...

Парень с весёлым голосом подмигнул, а потом шепнул мне:

— Это наш «мечтатель»... Художник...

Спор о счастье и счастливой жизни завязался по-настоящему. В разговор вмешался и Тимофей Дрожжин. Он сидел немного поодаль от костра и чинил вожжи. Из его рассказов в пути я знал, что в январе ещё он был стрелком, дрался с оружием в руках, был ранен в бою и по состоянию здоровья его перевели в транспортную роту.

Дрожжин отложил вожжи в сторону, сказал:

— Вот вы все накинулись на Славгородского. Удивляетесь, почему человек всем про свою жизнь и про свой колхоз рассказывает. А думаю я, товарищи, вот в чём здесь дело. Мне кажется, что наш приятель в мирное время жил, не оглядываясь на свою жизнь. Слепую жил. Бывают такие люди. Им всегда в жизни чего-то не хватает, живут они век свой в суе, никогда не осознавая своего людского счастья. Нужно было фашисту сунуться к нам, завариться этой каше, попасть человеку на фронт, оглянуться из карельских лесов на свой колхоз в Ростовской области и удивиться тому, как хорошо недавно жилось!.. Надо было лишить человека на время тепла и уюта, познать ему всяческие трудности на фронте, увидеть кровь человеческую, быть самому раненному, — человек ведь он храбрый и хорошо понимает, за что дерётся, ему Родина так же дорога, как и всем нам, — и тогда, вот видите, он прозрел, что малое дитя открыл глаза и удивился своему недавнему счастью...

Слова Дрожжина были верные. У этого человека было много житейской мудрости, и мы все согласились с ним.

Чай в ведре закипел. Мы стали чаёвничать, угощая друг друга, кто чем был богат, всё ещё болтая о счастье, о своих семьях, о войне.

Позади, на лесной дороге, внезапно показался всадник.

— Пётр! — крикнул неизвестный.

— Я здесь, товарищ старший лейтенант! — отозвался рябой долговязый боец, сидевший рядом с Дрожжиным.

— Тихон давно проезжал?

— А мы его совсем не видали, товарищ старший лейтенант.

— Вот чёрт! — Всадник взмахнул рукой, и его белоснежный конь сорвался с места...

— Это командир нашей транспортной роты, — не дожидаясь моего вопроса, сказал Тимофей Дрожжин. — Старший лейтенант Шарыпов. Татарин. Неутомимый человек. Большой любитель коней. Вона какую конягу себе выхотил! — Он обернулся, чтобы показать конягу, но дорога уже была пуста...

— Бес, а не конь!..

Поужинав, ездовые улеглись вокруг костра, и вскоре все заснули крепким сном.

Тимофей Дрожжин остался караулить коней. Сегодня была его очередь. Он вначале то и дело вскакивал с места, отгонял коней от изгороди, отделявшей поляну от лощины, а потом успокоился и, подложив сухого валёжника в костёр, чему-то улыбнулся, достал кисет, долго шуршал газетой...

— Ведь тронули же бесы за живое!.. Спать будете или как там? — обратился он ко мне.

— Нет, посижу у костра. Полюбуюсь природой, — ответил я.

— Ну, тогда все вместе встретим восход солнца! — приподнявшись со своего ложа, сказал «мечтатель». — Ты уж разбуди меня, Тимофей Яковлевич. Пожалуйста, не забудь.

— Спи, спи, — отеческим тоном сказал Дрожжин. — Вот тоже чудак: что ни в ночное, то обязательно встречает восход солнца!

Мы молчали, уставившись вдаль...

Внизу, в просвете деревьев, виднелась река, дальше — шла лощина. Река была застлана густым туманом. Туманом была покрыта и часть лощины. Сквозь молочную пелену пробивались верхушки сосен. Они казались висящими в воздухе, и ещё казалось, что там, за рекой, бушует снежный буран и всё в снегу.

Где-то одиноко куковала кукушка. Щёлкали и свистели соловьи в лощине.

Я первый нарушил молчание, спросив у Тимофея Дрожжина, чем он занимался до войны. Дрожжин придвинулся поближе к костру, уставился на огонь, и хмурое усталое его лицо вдруг просветлело от улыбки...

— Чем занимался до войны? А вы бы лучше спросили, чем я не занимался... В колхозе меня шутя называли «пожарником». Весёлая шутка, чёрт бери! — засмеялся он, видимо, что-то вспомнив. — А вот как, — вдруг начал он своё объяснение. — Скажем, надо построить школу. Кого поставить руководить работами? Собирается правление и постановляет: Тимофея Дрожжина!.. Проворовался заведующий фермой. Кто наладит дела на ферме и кого туда назначить на первое время? Собирается правление и постановляет: Тимофея Дрожжина!.. Взяли бригадира в армию. Кто его заменит? Опять Тимофей Дрожжин!.. К шефам на праздник кого послать? Опять, выходит, меня... И вот всё так.

— И со всякой работой справлялись?

— Справлялся, работу я люблю... Потому-то наши колхозники и оказывали мне доверие... Я их никогда не подводил! Да и самому приятно, скажу я вам, когда справишься с незнакомой работой...

С Дрожжиным мы беседовали долго. Он рассказал о своей семье, прочитал письма от братьев, о прошедших боях поведал, пока не решился сказать:

— Вот братва спорила насчёт счастья. Правда — много наговорили лишнего!.. У каждого счастье по-своему складывается в жизни. Что, не так ли? И я счастлив, к примеру. Для меня наивысшее счастье — это оправдать доверие народа, приносить пользу общему делу... Вот работу люблю незнакомую, беспокойную! Ещё люблю читать! Это уж прямо страсть моя. Без книг мне и жизнь не в жизнь. Дома у меня библиотека не хуже районной.

Мы заговорили о Льве Толстом. Толстого он знал и очень любил.

Над нами виднелся небольшой просвет голубого неба, дальше простирались тёмносиние облака. Приближался

рассвет летнего дня, хотя ночь чёрная совсем и не наступала.

Тёмносиние облака раздвигались всё дальше и дальше, исчезая на горизонте, и небо светлело, когда по голубизне небосклона вдруг точно прошла рука неведомого художника, оставив за собою лёгкий мазок светлорозовой краски. Такой же мазок вдруг неожиданно появился на другом конце неба, на третьем...

— Пора вставать, — сказал Дрожжин и стал трясти «мечтателя» за плечо.

Тот хотя и приподнялся со своего ложа, но никак не мог раскрыть сонных глаз.

— Спал бы лучше, — сказал Дрожжин.

Тёмносиние облака стали белеть. Они белели и таяли на глазах, и голубое небо раздвигалось всё дальше и дальше, пока в просвете облаков не появились тёмномалиновые мазки и облака, не успевшие исчезнуть на горизонте, не стали окрашиваться в малиновый цвет. Потом на небе появились светлозелёный, фиолетовый, красный и другие цвета. Все краски на некоторое время как бы застыли, и небо показалось замершим, после чего началась огненная вакханалия на востоке, все краски безжалостно были стёрты кистями фантастической величины, и под неистовое щёлканье соловьёв и кукование кукушки стало восходить солнце.

«Мечтатель» протёр глаза, стал наблюдать за небом. Лицо у него было по-детски счастливое.

Я спросил у него, как это он, художник, попал в ездовые?

Он повременил с ответом, шагая взад и вперёд по поляне, всё обозревая небо...

— Живопись — смысл жизни и мечта моя, — начал он свой рассказ. — Ездовые вот шутят, называют меня мечтателем!.. Хотя я и рисую всерьёз, участвовал во многих выставках, обо мне уже есть определённое мнение среди художников, да и являюсь я членом Союза художников! Но я молод и мечтаю о настоящем искусстве! О правде искусства!..

Она, эта правда, даётся трудно, приходится всё время искать, учиться у жизни, учиться у классиков, переделывать и переписывать одну и ту же вещь много и много раз, бросать начатую работу, приниматься за новое полотно... И вот проходит время, тебя обгоняют, товарищи твои уже написали десятки картин, некоторые из них особенно и не задумываются над работой, пишут себе и пишут, и всё это гладенько и ровно, и грамотно, скажу я вам, но всё это — обыденное искусство, в их картинах нет того вечного искусства, что делает картину нетленной для времени. Вы понимаете, о чём я говорю?

Я молча кивнул головой, а Дрожжин сказал:

— Репина должен любить.

— О, я его боготворю! Сказать, что люблю, — это значит ничего не сказать! — восторженно ответил художник.

— Ну, тогда в музыке должен любить Глинку, правда, нет?

— Ну, конечно, Тимофей Яковлевич! — всё с той же восторженностью ответил художник.

— А в литературе — Толстого?..

— Толстой!.. Вы знаете, как у нас бывало в семье?.. Отец у меня был простым человеком, но когда за столом кто-нибудь произносил имя Толстого, он всегда вставал с места. Толстой для него был, что бог. Да что я: выше бога!

— Отец у тебя, видимо, был хорошим и умным человеком, — сказал Дрожжин.

В это время у изгороди «заскандалили» кони, и художник, не закончив своего рассказа, побежал их разнимать.

— А парень он хороший, — задумчиво сказал Дрожжин. — В феврале отличился. Тяжелые у нас шли тут бои. Как-то около него разорвался снаряд, контузило парня. Удивительно, как в клочья не разнесло. В тыл его хотели отправить после госпиталя, а он к нам пришёл. Наотрез отказался уезжать с фронта. Вот какой художник! И среди них, выходит, бывают отчаянные головы. Ну, послать его стрелком больше не решились, определили в каптерку, а по-

том к нам прислали. Оно и понятно: у нас больше света и красок, всегда мы в пути-дороге — в дождь и в жару, в ночь и в полдень. — Дрожжин улыбнулся. — Да, парень он, определённо, хороший. Можно сказать, «человек с мечтой». Люблю мечтателей. Я и сам такой. Вот всё мечтаю добрать ещё сотню томов к классикам, утереть нос нашему райбиблиотекарию, — тогда и умереть не жалко.

Где-то недалеко в воздухе прожужжал вражеский разведчик и, видимо, поравнявшись с передним краем, бросил зелёную ракету. Через минуту с той стороны ударила тяжёлая артиллерия. Им ответили наши батареи, и громовые раскаты орудийных залпов понеслись над лесами.

— Ну, начинается! — сказал Дрожжин и встал.

Ездовые вскочили с мест и бросились ловить коней.

Замолкла кукушка. Утихли соловьи.

Неведомо откуда на поляне, на белоснежном коне, показался старший лейтенант Шарыпов. Он хотел спешиться, уже закинул ногу через седло, но, на ходу обдумав своё намерение, вновь вдел носок сапога в стремя и пришпорил коня. Конь заплясал под ним, дико выкатив глаза.

— Выходит, товарищи, что надо поторапливаться, — сказал старший лейтенант. — Боеприпасов у них не так уж много.

Художник носился из конца в конец поляны. Кони его куда-то ушли.

— Поищи в лошине! — крикнул ему Дрожжин.

Художник раздвинул кусты и исчез в тумане.

— Комары сильно кусались? — желая завязать разговор, спросил у меня Шарыпов.

Пушистый хвост белоснежного коня касался самой земли, розовая пена стекала с его губ. Шарыпов запустил руку в золотистую гриву и собрал её в кулак: так землепашец с наслаждением запускает руку в свежее зерно.

Пока мы разговаривали с Шарыповым, ездовые суетливо задавали коням корм, переговаривались между собой, осматривали и заряжали свои винтовки, запрягали коней и

выезжали на середину поляны, становясь в колонну. В какие-нибудь десять минут все уже были готовы в дорогу, но не было «мечтателя». Телега его сиротливо стояла в стороне.

Тимофей Дрожжин несколько раз окликал его, но художника всё не было. Тогда все собрались у гаснущего костра, и каждый стал торопливо свёртывать цыгарку на дорожку.

Наше нетерпеливое ожидание прервалось сперва одиноким глухим выстрелом, потом — беспорядочной пальбой в лошине.

Мы отпрянули от костра, скинули с плеч винтовки. И тогда раздался спокойный голос Шарыпова:

— Товарищи, помните: мы везём боеприпасы!

Ездовые стали выезжать с поляны. Греск ломаемых сучьев и кустарника слился с треском выстрелов. Мы с Шарыповым подбежали к краю обрыва, но в тумане никого не увидели. Шарыпов окликнул художника.

В ответ прогремел винтовочный выстрел, и эхом прокатился по долине знакомый крик белофиннов.

Шарыпов крепко выругался по-татарски, побежал к ездовым, собрал их на поляне.

— Тут засада, товарищи, — сказал он, — надо спасать боеприпасы. Часть из вас поедет дальше, а часть останется. Кто остаётся со мной?

И в это время из тумана показался художник, ведя за гривы своих коней. Он был ранен, лицо его было измазано кровью.

Кони из кустов сделали скачок и рысдой кинулись к своей телеге.

— Там их десять человек, они в маскхалатах, — сказал художник.

— Кто остаётся со мной? — спросил Шарыпов, снимая с пояса гранату.

— Все остаёмся, товарищ старший лейтенант! — крикнул Тимофей Дрожжин.

— Все, все! — раздались вокруг голоса.

— Все не нужны! Мы везём боеприпасы!.. Остаётся «гвардия»! — Шарыпов указал на парня с весёлым голосом, Дрожжина и Славгородского...

Приказав всем остальным немедленно тронуться в дорогу, Шарыпов сказал мне:

— Вы — офицер, вам придётся возглавить доставку снарядов!

— Я считаю своим долгом остаться с вами, — начал было я, но старший лейтенант только крепко пожал мне руку и побежал к своим «гвардейцам».

Они четверо остались в засаде. Белофинны из лощины должны были выйти на эту поляну, чтобы попасть на дорогу. Шарыпов и решил преградить им здесь путь и уничтожить.

Когда мы отъехали километра три, позади раздались сильная ружейная перестрелка и разрывы гранат. Видимо, бой начался.

Ездовые иступлённо погоняли коней и так гнали их часа два.

Громовые раскаты орудийных залпов в Чёрт-озере приближались всё ближе и ближе. В коротком промежутке между залпами слышался охрипший голос комбата. Раздавалась команда, — и громовые раскаты снова гремели над лесами.

Мы уже были близко от батареи, когда орудия вдруг прекратили огонь. Наступила тишина, хотя командир батареи, с всё возрастающим ожесточением, подавал команду. Но орудия молчали. На батарее, видимо, только что кончились боеприпасы.

И тогда, в наступившей тишине, мы слышали конское ржание. Я обернулся: нас догонял белоснежный конь Шарыпова. Он был без хозяина, хромота и частенько падал на передние ноги. Телеги ехали дальше, вперёд. Я же остановился и схватил коня под уздцы: грудь и ноги у него были в крови, и он весь дрожал от испуга.

---

---

---

## НЕИЗВЕСТНЫЙ БОЕЦ

Здесь глина, и воронки заполнены водой. Дальше попадают полосы пахотной земли. Воронки на них черны и сухи или заросли чахлой травкой. В иных местах, точно золотыми обручами, воронки окаймлены сверкающим на солнце песком.

Кроме этих бесчисленных воронок от мин и снарядов, я ничего не могу приметить вокруг и удивляюсь тому, как их столько могло уместиться на этом пустыре.

А дед Егор, пыхтя своей трубкой, говорит, что ещё несколько месяцев тому назад на этой самой земле ютилась деревушка Соловьиный Островок, на этом пустыре, исковерканном воронками, стояли дома, у каждого дома был сад, огород, пристройки, и люди испокон веков мирно жили и трудились здесь, — лесовики и охотники, многие из которых никогда в своей жизни не видели ни городов, ни морей.

Если всё это правда, что рассказывает дед Егор, то тогда деревушка и на самом деле была подобна островку, затерянному среди этого бесконечного массива ели, берёзы и сосны, тянущегося на сотни вёрст вокруг, непрерывной цепи холмов и изумрудных озёр, переполненных, точно чаши...

Дед Егор, вместе со связным командира батальона провождая меня по бывшей деревне, словно чувствует, что в душе своей я не совсем ещё верю всему рассказываемому, и он всё время ищет на земле что-нибудь, подтверждающее его слова... «А вот черепок!» — вдруг радостно говорит он

и, придерживая рукой автомат на плече, наклоняется, поднимает черепок с сиреневым узором.

Да, здесь когда-то жили люди.

Мы приближаемся к высоте «Неизвестный боец».

Вот она стоит перед нами, освещённая ярким солнцем, искрящаяся бесчисленным количеством осколков, без единого деревца, но вся заваленная обрубками деревьев, высота, за которую было пролито столько крови и которую напоследок один отстоял, обессмертив себя этим навеки, боец, похороненный у её подножья.

Связной командира батальона настораживается, скидывает с плеча автомат, говорит:

— Здесь будьте осторожны. С тех высот охотятся снайперы.

Слова связного, видимо, относятся ко мне, потому что дед Егор попрежнему идёт своим неторопливым, широким, властным шагом хозяина этих мест, и ему, старому охотнику, всю жизнь прожившему в лесах, совсем наплевать на немецких фашистов с их снайперами.

Мы пригибаемся, ускоряем шаги и, минуя сапёров, роющих новую линию зигзагообразных траншей, оказываемся у подножья высоты, недостижимые теперь для снайперов.

У розовой гранитной глыбы похоронен русский боец. На карельском граните, ставшем теперь чем-то вроде надгробной плиты, углем выведены бесхитростные слова: «Вечная тебе память, дорогой товарищ, которому мы не знаем ни имени, ни фамилии. Но ты был русским человеком, и мы клянёмся быть такими, как и ты, кровью и жизнью своей защищать каждую пядь советской земли. Вечная слава тебе». Дальше следует бесчисленное количество подписей, выцарапанных чем-то острым, финками или осколками.

— Высоту эту раньше называли Кудрявой Горой. Со мной и елью она была покрыта. С неё далеко всё кругом видать, — говорит дед Егор.

Вот потому, что с Кудрявой Горы далеко всё кругом видать, она и деревня Соловыиный Островок, когда в этих

краях начались военные действия, стали ареной жесточайших и кровопролитнейших боёв. Семь раз в течение августа и сентября 1941 года дереvушка и гора переходили из рук в руки. Земля выдержала адский огонь пушек и миномётов, от которых осталась память—воронки. А на горе весь многолетний сосновый лес, делавший её «кудрявой», был посечен и словно вырублен до основания. Бойцы, оборонявшие высоту, стали тогда называть её «Лысой горой». Но и это название недолго продержалось за бывлой «Кудрявой». В неравных боях бойцы погибли все до единого. Но высота всё же осталась неприступной для фашистов. Казалось, теперь она сама извергала ливень огня, уничтожая каждого, кто приближался к её подножью, сея вокруг с прежней силой смерть и только смерть.



Дед Егор выколачивает трубку,—трубку старую, в трещинах, перевязанную медной проволокой, в трех заклёпках, — и садится на камень...

— На высоте здесь тогда стоял взвод, и от взвода на четвёртый день боёв трое осталось в живых. Остальные все полегли! Как богатыри полегли, но никто не сбежал. Да. Сами поумирали, но и ворогов изрядно поуничтожили. Вся лощина была завалена их трупами. Сомов, — это командир взвода, царствие ему небесное, вот был бесстрашный человек! — и говорит мне. «Дед Егор! Раз связи у нас нет, то, может быть, они и не догадываются, как нам тяжело троим? Пойди-ка ты в батальон. Расскажи всё! И тащи пулемёт». — «Хорошо, говорю, держитесь!» — и бегу, как бы на засаду не наскочить. Все тогда воевали, все взводы, роты, батальоны. Карусель здесь такая была, что нему было жарко!

Командира я долго искал. А когда добрался до места, вижу: убит командир. Идут четверо и труп его несут на носилках... С пустыми руками вернулся назад... Только это стал я в деревню пробираться — начали палить финские

пулемёты. Потом ударили пушки! Били они по Кудрявой недолго, замолкли, и снова пошла ружейная и автоматная пальба... Пролежал я некоторое время на земле и вдруг слышу: на Кудрявой заработал «Максим»!

Двадцать медведей убил за свою жизнь, убил много и всякого другого зверя, а тут — страх взял!.. Что за дьявол, думаю, на горе сидит, кто это там с фашистами воюет? Пополз наверх. Полазу и прислушиваюсь: огонь ведётся с головного дзота. Это на самой вершине, меж каменных плит. Полз я долго, добрался до этой пещеры, влезаю в неё и вижу: сидит боец за «Максимом»! Видимо, он не раз встречал меня в этих местах, потому и не удивился моему приходу. И я не раз замечал его среди бойцов. Короче говоря, знакомые люди, не чужие.

«Ты как попал сюда, откуда?» — спрашиваю. — «Да вот, говорит, от соседей пришёл на подмогу, пришёл сказать, что подкрепление идёт, услышь батальон пробивается по болотам, вот-вот будут здесь, а сказать-то и некому. Был Сомов ещё жив, да его при мне и убило осколком снаряда...»

В тот час, думается мне, и поседел Егор Фомич! Вот бел, что лунь, а были у меня и чёрные пряди волос. Стар-то я, стар годами, а молод телом да душа молода. Жизнь прожита в лесу. Я этому Сомову раз двадцать разведку водил к немцам, раз десять один за озеро пробирался. Было делов у деда Егора! Вместо берданочки своей вот автомат достал. Сам достал! Фашиста как схватил вот так, сзади, — так и притащил Сомову!.. Да...

Значит, делать нечего, сидим и молчим. Боец этот всё в амбразуру, в окошечко глядит. Потом бросает мне связку пустых лент и говорит: «Набивай, дедка!» А сам за ручной пулемёт берётся. Сомовский был пулемёт, он его вытащил из ложины. Да. Я набил одну ленту, он раза три прострочил по берегу озера, смеётся: «А вдвоём веселее будет, дедка». Молчу я. До веселья ли тут? Он заговаривает со мной, а я всё ребят не могу забыть, они точно живые, так и стоят передо мною...

Он тоже долго молчал, всё о чём-то думал, морщил лоб. Потом спрашивает: «Ты что, дедка, воевать остался?» — «Остался, — говорю, — уходить мне некуда, век свой прожил в лесу». Да. Он и говорит: «Так умирать не страшишься?» — «Всё равно старость-то пришла», — отвечаю. «Тогда, дедка, — говорит он, — высоту эту, потому что она самая высокая, мы ни за что не должны отдать фашисту. Понимаешь?» — «Как же не понимать, — говорю. — С Кудрявой далеко всё кругом видно». — «Вот-вот!» — радуется он. «Понимаю, — говорю, — понимаю, я тоже в войне кой-что кумекать стал, разведчиков всё водил к финнам и немцам». — «Ну, а раз так — чуешь, дедка, почему я забрался на эту макушку?.. Чуешь?..» — «Чую», — говорю...

\* \*

\*

«Гитлеровцы с двух сторон пошли на Кудрявую. Слева, со стороны озера, строчат и справа строчат. Сидим мы в крепком месте. Камень кругом. Камень миной не возьмёшь! Да. Он и спрашивает: «Из какого оружия стреляешь, дедка?» Говорю: «Вот автомат знаю, да разведчики ручной пулемёт со мной разучили, вроде и ничего из него стреляю». Молчит.

А выстрелы всё ближе и ближе раздаются. Ну, прямо рядом строчат. Автоматчики, видать. А он — ничего. Чем ближе выстрелы, вроде и спокойнее выглядит, и веселее. Так наискосок от щитка всё и поглядывает. Вечера тогда были уже светлые, что днём. Хорошо было видать. Фашисты уже были в лощине, голоса их стали слышны. Все кричат что-то по-своему. Я это ему: «Стреляй, сыночек!» А он мне: «Молчи, дедка, рано». — «Стреляй!» — говорю и за рукав его дёргаю, а он мне: «Молчи, дедка!» И так раз десять. Выдержки, значит, маловато было у меня, не вытерпел больше схватил ручной пулемёт и хотел на волю выбежать, а он как гаркнет: «Стой, старый дурак!..» И тут застрочил! Да как ещё застрочил!

Лёг это я рядом и стал ленту набивать. Патроны в касках лежат, на земле валяются. В дзоте ещё гранат круглых

и длинных штук пятнадцать было, провода моток, два телефонных ящика и ещё что-то, не помню уж...

Ну вот, стал я ленты набивать. Набиваю, а он строчит из «Максима», крестит их. Когда ствол пулемёта накалился, — лёг он за ручной пулемёт. И опять строчит и крестит. И всё ругается. Страшен был в своей ярости. Таких пулёмтчиков редко бывает, батенька. Да!

Вскоре в лошине крики и стоны раненых стали слышны. У него там какая-то черта была намечена, за которую он уж никого не пускал... Геройский был парень, царствие ему небесное, редкий пулёмтчик! Поубивал же он фашистов! Когда утром я посмотрел вниз, — там их до дьявола валялось, и все вроде как бы на одной черте. Все рыжие, нарядные, солдаты и офицерьё. А то и все офицерьё! Бог их знает! «Юнкера, — говорил он, — пятый день в этих местах всё пьют и пьяными на рожон лезут, нахрапом хотят взять высоту...»

Он всё строчил и крестил этих самых юнкеров и таким манером через часок их отбил. Устал очень. Прямо задыхался. Скинул с плеч котомку свою, достаёт котелок и говорит: «Принеси, дедка, воды, умираю от жажды». Взял я котелок, вниз пополз. Дошёл до ручейка, черпнул воды, а вода в нём и не держится: котелок-то весь изрешечен пулями! Вернулся наверх, посмеялись с ним. Посмотрел консервы, — те тоже насквозь прошиты. «А сам вот остался жив!», — говорит он. — Как бывает, дедка, а? Счастлив я или нет?» — «Счастлив, — говорю, — такого пуля не возьмёг». — «Да, какой-то я удивительный, — говорит, — товарищи все были поубиты и ранены, а я вот — всё жив! Когда ещё третьего дня воевали у Титькина хутора, надо было пехоту поддержать. Место открытое, немцы со всех сторон обстреливают, головы не поднять. Под таким огнём мы и ползли с километр. Нас было три пулёмтчика. У каждого пулемёт. Никто до места не дошёл, а я дошёл! И один дошёл! Бывало, что и во весь рост поднимался, — упрёшь этак пулемёт в живот и ведёшь огонь. Выходит, что пуля обхо-

дит храброго. как думаешь?» Говорю: «Правильно, я и сам такой. Другой раз десять уже был бы на том свете,—шутка ли сказать. двадцать медведей имею на своём счету! — а я вот живу и здравствую, фашистов ещё сколько поубивал!» Смеётся! Весёлый парень был! «Тогда, — говорит, — дедка, на тебе банку консервов, и мне банку, и за дело!»

Он в левое окошко глядит, я — в правое. Едим, говорим и в окошко поглядываем. Он вдруг и спохватился: «А ведь совсем не дело делаем, дедка, что сидим вдвоём в одном дзоте! Надо делать вторую огневую точку. Тогда ни один дьявол нас не обойдёт». Сказал и вскочил на ноги. Посмотрел я на него: небольшого такого роста, тощий мужик. Но сила в нём богатырская была, говорил, что пятый день всё в боях и ещё глаз не смыкал. Да.

Ну, значит, вышел он из дзота и за дело принялся. Он всё за озеро боялся, за дорогу, которая идёт к берегу. Человек он был смекалистый, видать, из мастеровых, и солдат храбрый. Вырыл меж сосен небольшой окоп, кругом обложил его камнем, притащил из землянок доски, мешки с какой-то древесной мукой, несколько брёвен, и получился у него из всего этого небольшой такой дзотик. Вот туда он и забрался со своим «Максимом». А меня оставил с ручным пулемётом. Так мы уладили дело, что всю местность пополам разделили и каждому — свой кусок. И выходило после этого, что юнкерам этим самым никак не найти будет к нам лазейки.

Да... Так мы и расстались с ним до самого утра. А с первыми жаворонками, с первой их песней, вваливается он ко мне, говорит: «Сейчас, дедка, налажу связь, скучно не будет». Берёт провод, телефонный ящик, второй оставляет мне, объясняет, как с ним обращаться, и уходит. А через час слышу в эту самую трубку: «Не спишь, дедка?» — «Нет, — говорю, — любуюсь восходом, жаворонков слушаю». Он и говорит: «Природой любишься? Да, хорошая штука жизнь, кабы пережить войну, повидать, дедка, что будет потом...»

Ну а дальше случилось так, что фашисты нам покоя не давали, и мы без сна и еды два дня прожили в своих берлогах. Был у меня в кармане сухарь, тем и жил, поса-сывал, что медведь лапу. Да. Когда он чуял по моему го-лосу, что спать меня клонит, песни начинал петь. Знал он их пропасть. Видать, в мирное время был озорным и вы-пить не дурак. Такой завсегда должен быть компанейским парнем».

\* \*

\*

Дед Егор достаёт из кармана синий кисет, набивает та-баком обуглившуюся трубку в трёх заклёпках и молча ку-рит, курит, всё глядя вдаль. Я встречаюсь взглядом со связным командира батальона, — тот отводит глаза. Все молчим. Наконец, дед Егор встаёт, говорит:

— Вот поднимемся наверх, тогда понятней будет осталь-ное.

Мы поднимаемся на вершину высоты, заходим в «голов-ной» дзот, и отсюда мне очень чётко представляется недав-няя битва в долине, где и до сего дня лежит так много вражеских трупов.

— В жаркий день на версту слышен запах, — говорит связной. — В боевом охранении в такой день ребята чуть ли не противогазы надевают. Им наполовину урезаны часы стоянки.

Егор Фомич смотрит совсем в другую сторону. Не мо-жет он глядеть в долину! Он кивает мне, говорит:

— Какие места, а? Где такое ещё сыщете? Море, а не лес. Ни конца, ни края...

Насколько хватает глаз, с высоты вокруг виднеется один только лес, лес, лес. Горизонт напоминает непрерывную цепь Кавказских гор.

— Потом и началось это, бой решительный за Кудря-вую... Дело было под самое утро. Человек пятьдесят на-ступали по берегу, к долине хотели прорваться. На этот раз они, собаки, схитрили, атаку начали втихую. Видать,

учуяли, что народу на Кудрявой кот наплакал. Он-то и кричит мне: «Дедка, теперь держись! Стрелять тебе воспрещая, не открывай себя до моего сигнала».

Пулемёт его заговорил во-время и остановил фашистов у самой ложины. Те залегли и открыли огонь. Пулемёт замолк. Стали по его дзоту бить из миномётов. Штук тридцать мин выпустили. Звоню: «Как дела?» — «Молчи, дедка, не тревожь пока!» Молчу. А сердце в груди разрывается. Да... Постреляли юнкера и во весь рост поднялись. Пошли, как ходят в строю. И тут пулемёт его вновь застрочил, стал крестить их. Негде было врагам укрыться, и они побежали назад. Сам позвонил: «Атаку отбил! Тринадцать лежат». Только это он сказал, как новая группа показалась у ложины. Мне сверху всё видать!.. И снова старая история: опять побежали. Звоню: «Сколько?» Отвечает: «Девять человек, мало».

Так он воевал, а я всё ждал своего черед. У меня заряженных было три диска. Патроны были, а вот не было помощника. А то бы не утерпел, ввязался в бой. Звоню: «Как дела?» И в такую трудную минуту смеётся: «Всё жмут!» — «А ты как? — «Всё поджигаю! Я им, дьяволам, здесь уготовил такую дорожку на тот свет, что надолго меня запомнят». — «Хорошо, — говорю, — скажи, когда надо подсобить». Он и говорит: «Как только патроны придут к исходу, скажу, — тогда открывай огонь, я и отойду».

И вот так, изредка, мы переговаривались с ним, пока он не закричал: «Слышишь, дедка? Дедка, умри, но не уходи с высоты! Слышишь? Осталась последняя лента. Закладываю ленту...» Гляжу в окошко: фашисты окружили его самодельный дзот. Прижимаю трубку к уху, слышу: «Дедка, прощай, vedi теперь огонь по моей хате, я им не дам, держись теперь ты...»

Дзот его разворотило во все стороны. Наверное, он сразу рванул несколько гранат. И всё стихло. Юнкера эти самые тоже почти все полегли... Я вроде как окаменел, при-

рос к пулемёту, — так и остался лежать. Потом уже, когда появилась новая группа фашистов и они стали подниматься на Кудрявую, пришёл в себя и встретил их по-стариковски, двумя дисками... Да... Вот, пожалуй, и всё! И так до самого вечера немцы больше не совались ко мне. А к ночи и наш батальон подоспел. Остальное может рассказать вот связной. Они с командиром первые и зашли ко мне.

Связной мнётся, потом говорит:

— Что ж мне рассказывать? Пробивались через болота. В пути встретили засаду, уничтожили её. К ночи лишь добрались к высоте. В живых был один Егор Фомич — вот наш герой!

— Так и герой! — смущённо говорит старый охотник.

— Ты, Егор Фомич, есть настоящий партизан и боец. Вот увидишь — обязательно тебе присудят «Героя», — с жаром говорит связной.

— Так и «Героя»! — качает головой дед.

Мы спускаемся вниз. Остонавливаемся у могилы неизвестного бойца, потом идём дальше. Связной возвращает меня назад, говорит:

— Возьмите камешек на память. Вот отсюда, с могилы!

Я поднимаю камешек — плоский, голубой, с розовым отливом.

— Вот и держите при себе! Тогда вас никакая пуля не возьмёт. Недавно мимо нас проходила рота. Бойцы перед могилой дали клятву сражаться до последней капли крови. Командир роты взял с могилы камешек, спрятал в карман. То же самое сделали бойцы... Рассказывают, через день они пошли в бой, отбили у врага деревню, две высоты, взяли трофеи и фашистов поубивали сотню. А у них — не только ни одного убитого, но и раненого не было! Правда, здорово, а?

У него, этого восемнадцатилетнего связного, веснушчатое лицо, курносый нос, и глаза горят счастливым огоньком, когда он говорит.

— Чепуха всё это, — сердится Егор Фомич.

Глаза у связного так сияют, что я говорю: «Да, здорово!» — и прячу поднятый камешек в карман.

— Нет, святым он не был, — задумчиво говорит дед Егор. — И богатырём тоже. Он был простым русским солдатом...

Они спорят между собой — и пусть. Мне же хочется молчать. Молчать и думать. И старик, и связной комбата — оба герои. Дед совсем геройский. Но мне хочется всё думать о неизвестном бойце, о котором я молча и жадно прослушал рассказ старого охотника, чтобы, где бы мне ни пришлось говорить или писать о стойкости, храбрости русского солдата, я бы мог везде вспомнить о нём...

Я оглядываюсь ещё раз на высоту. Она стоит, заваленная обрубками деревьев, в воронках от мин и снарядов, с гранитной глыбой у самой могилы, к которой с трёх сторон в порыжелой траве пробиваются свежие тропинки.

Из раздумья меня выводит голос связного:

— Здесь будьте осторожны. С тех высот стреляют снайперы...

---

---

---

## НИКИТА СВЕРНИГОРА

Это было в конце июля 1941 года в балтийской бригаде моряков, на Тулоксе, куда в разгар ожесточённых боёв как военный корреспондент я приехал за боевой информацией и очерками для газеты...

Всю ночь шли бои, лес гремел от оружейных раскатов. Когда забрезжил рассвет, затих немного передний край, меня вызвал к себе командир батальона Воронин. Нашёл я его в ложине. Он лежал на плащ-палатке и хлебал из солдатского котелка остывшие щи. Не без удовольствия Воронин спросил:

— Хочешь увидеть настоящего героя? Героя из героев?

— Это мой долг... — начал было я.

— Тогда вот что: ищи краснофлотца Никиту Свернигора. Подробностей я сам ещё не знаю, но ты военный корреспондент и раньше меня всё узнаешь...

Ручной пулемётчик Никита Свернигора дрался в роте лейтенанта Панина. Занятая ротой высота «Брат и сестра» в течение ночи подверглась четырём контратакам гитлеровцев. Свернигора в бою был ранен, его с ручным пулемётом видели на разных участках, везде он дрался героически, но потом, когда пришло подкрепление, он куда-то исчез.

Я пошёл искать Никиту Свернигора в санитарную часть батальона. Мне сказали: «Да, Свернигора был здесь, но его отправили дальше». Я поехал в бригадную санитарную часть. Мне здесь сказали то же самое: «Свернигора сделали перевязку и, как тяжело раненого, отправили дальше»... Все

мои и дальнейшие поиски оказались тщетными: раненого пулемётчика за несколько часов уже успели эвакуировать в Олонце, а может быть, и в Лодейное поле.

Тогда я вернулся в санитарную часть батальона, нашёл военфельдшера, который перевязывал Свернигора, попросил его рассказать о раненом.

Военфельдшер охотно выполнил мою просьбу.

— Такого раненого, пожалуй, видел впервые, — сказал он. — У него четыре пулевые раны. Две в плече, одна в груди и одна в руке. Но сам добрался до санчасти! Это за три километра! Да ещё притащил с собой ручной пулемёт и дисков штук пять к нему, правда — пустых.

— Останется ли он жив? — спросил я.

— Трудно сказать, много крови потерял. Но это такой парень, — тут военфельдшер улыбнулся и покрутил свои пушистые усы, — что всякое может случиться. Знаете, он услышал мой разговор с военврачом, — я ему задал такой же вопрос, что вот и вы мне! — рассердился и сказал такие слова: «У кого сердце бьётся за Родину, тот не может умереть!» Он это сказал с такой уверенностью и горячностью, что, может быть, и останется в живых. В жизни иногда бывают чудеса.

«Бывают ли чудеса?» — с горечью подумал я, сорвал прутик и, похлёстывая им по сапогам, побрёл по пыльной дороге обратно в батальон...

Вечером я выехал в ополченческий отряд, расположенный по соседству с морской бригадой, там пробыл два дня. Потом переехал к пограничникам, а в первых числах августа оказался в Олонце.

Комендант гарнизона капитан Сидоров, герой Хасана и Халхин-Гола, поселил меня в небольшом домике на берегу Олонки. Домик был чистенький, уютный, стоял в саду. Хозяйка — древняя, высохшая старуха — нехотя уступила мне одну из комнат, видимо, бывшую моленную, где я стал работать целыми днями. На досуге же я всё обозревал почерневшие от времени иконы, которыми сплошь были обве-

шаны стены. Кроме икон, в комнате было неплохое собрание книг по расколу и выцветшие кипы старообрядческих журналов. Не без интереса я просматривал и читал их. На улице я выходил поздно вечером, когда надо было идти на военный телеграф.

Возможно, что этот тихий домик на берегу Олонки стал бы моим постоянным пристанищем во время наездов в Олонец, не разгорись в нём на четвёртый день моего житья скандал из-за папироски, которую выкурил у меня в комнате старик, хозяин дома. Старуха поймала мужа на месте «преступления», с нею случился обморок, а когда она пришла в себя, стала настоятельно требовать немедленного же развода! И это после «золотой свадьбы», которую они сыграли год назад.

Мне пришлось выехать из домика и временно поселиться в полевом госпитале у знакомого военврача Вознесенского.

И вот как-то я сидел на террасе, за соседним столом Вознесенский играл в шахматы со своим ассистентом... В это время во дворе появилась странная процессия: впереди шёл полный счастья и сил, весь перевязанный ослепительной белизны бинтами, широкоплечий моряк, немного поодаль от него — хорошенькая медицинская сестра с заплаканным лицом, а позади них — красноармеец казах, с винтовкой наперевес, в окружении толпы любопытных сестёр и санитарных дружинниц.

— Что это за процессия, Дмитрий Васильевич? — спросил я у Вознесенского.

Тот взглянул во двор и усмехнулся:

— Повели голубчиков!

— Что это за «голубчики», куда их ведут?..

Процессия дошла до ворот, тут казах повернулся к провожающим и пригрозил им винтовкой, и я увидел сквозь частокол: моряк и медицинская сестра с заплаканным лицом пошли серединой улицы, как настоящие преступники.

— Я думаю, что эта история тебя совсем не заинтере-

сует, — сказал Вознесенский, взяв с доски ферзя и подкидывая его в руке. — Вам, газетчикам, сейчас подавай героический материал.

— Да, это история, достойная Шекспира! — глубоко-мысленно протянул ассистент, почесав затылок. Человек он был малопривлекательный, и я не обратил внимания на его слова.

— Ну, это не совсем так, — возразил я Вознесенскому. — Лично меня всё интересует.

— И зря, — сказал Вознесенский, прищулив левый глаз, не сводя взгляда с доски, перестав подкидывать в руке ферзя. — Сейчас нужна героика. На подвигах надо учить народ воевать. Эта война, батеньки, будет тяжёлой войной, и вы, газетчики, делаете большое дело, когда за героическим материалом лезете в самое пекло боя и достаёте его.

— Ну, а всё же что это за «голубчики»? — спросил я.

— Самая обыкновенная история, — на этот раз не без раздражения вступил в разговор ассистент. — Он — моряк, был тяжело ранен в бою, его из медсанбата эвакуировала сестра, в которую он, так сказать влюбился в дороге, дней пять пролежал в палате у майора Шварца, почувствовал себя лучше, здоровье у него дьявольское, перенёс три операции, и решил, что в госпитале ему больше делать нечего, раны сами по себе заживут, лучше заняться любовными делами, заморочил девушке голову, она где-то нашла комнатку, и он сбегал к ней. Прожили они шесть медовых дней, их нашли, привели в госпиталь, ему сделали перевязку, а сейчас повели в трибунал. Вот и вся проза жизни, если из всей этой истории выкинуть возможную долю и поэзии.

— Но меня этот моряк заинтересовал с профессиональной точки зрения: боже, что за железный организм! — Вознесенский развёл руками и откинулся на спинку плетёного кресла.

И тут только, при словах «железный организм», я невольно воскликнул:

— Да ведь это же, наверное, пулемётчик Никита Сврнигора!

— Не то Свернигора, не то Вернигора, а может быть, даже и Перевернигора! — Вознесенский улыбнулся. — В Киеве у нас во дворе жил бондарь по фамилии Чуть-Жив!..

— Прошу, Дмитрий Васильевич, ваш ход, — сказал ассистент, сердито посмотрев на меня: я им мешал играть.

— Пожалуйте, сударь! — Вознесенский снял туру, объявив шах королю!..

Я покинул шахматистов и торопливо зашагал по улице.

В трибунале вежливо отказались информировать меня по ещё не начатому делу Свернигора, предложили зайти дня через два, и вскоре я уже плёлся обратно в госпиталь. День был солнечный, улицы — полны народа. Меня всё больше и больше начинал интересовать Никита Свернигора. Хотелось хорошо думать о нём, и верить в него. Не каждый всё-таки способен при его ранениях сказать: «У кого сердце бьётся за Родину, тот не может умереть». На улице было весело, шумно. Несколько дней тому назад был разгромлен батальон вражеских самокатчиков, и в комендатуру привезли до трехсот новеньких шведских и финских велосипедов. Комендант гарнизона капитан Сидоров, танкист по специальности, человек был добрый и плохо знающий свои обязанности, и всем желающим разрешал брать на прокат трофейные велосипеды. И стар, и млад брали их, учились на них ездить. И на каждом шагу можно было видеть велосипедиста с разбитым велосипедом или же с разбитым носом и вокруг — толпу хохочущих.

\* \*

\*

В середине августа, после поездки в Петрозаводск, мне вновь пришлось побывать в балтийской бригаде моряков. Первым делом я навестил комбата Воронина. Встретил он меня радушно, как старого знакомого, и у нас сразу же за-

вязалась оживлённая беседа. Я ему рассказывал про жизнь города, он—про фронтовые дела. Но в землянке было душно, к тому же чем-то пахло, и я предложил Воронину выйти на свежий воздух.

— Нет, сейчас не стоит, бьёт их артиллерия, — сказал Воронин, откинув плащ-палатку, висящую над входом в землянку, и позвал Никиту Свернигора.

— Как, он уже вернулся? — с нескрываемым удивлением спросил я.

— Вернулся, — нехотя ответил комбат. — Бедовый парень!.. По делу с этой медсестрой ему вынесли условный приговор, учли подвиг в бою. Но до конца всё же не подлечился, ушёл раньше времени из госпиталя. Думал вернуть обратно, да махнул рукой: затея бесполезная. Пока что оставил у себя, за связного. Поправится — пошлю обратно в роту.

В это время перед землянкой показался и сам Никита Свернигора! На этот раз я его хорошенько разглядел. Это был крепко сбитый, широкоплечий парень, с хорошим открытым лицом, с лукавыми синими глазами, с ямочками на чисто выбритых щеках. Он был в тельняшке, под которой виднелись перекрещенные полосы бинтов, и в невообразимой ширины клёше. На поясе у него висел чистенький девичий фартук в кружевной оборке и великолепной работы финский нож в костяных ножнах с серебряной инкрустацией.

В руках на листе бумаги Свернигора держал большой кусок мяса.

Воронин, не сводя глаз с мяса, вдруг сделал суровое лицо, сказал:

— Чёрт знает что, в землянке опять нехорошо пахнет!

Свернигора вошёл в землянку, положил мясо на табурет, прошёлся вокруг «стола»—плетёной детской люльки, на которую сверху была прилажена спинка двухспальной кровати орехового дерева, приподнял спинку, заглянул внутрь

люльки, тщательно осмотрел её и невозмутимо спокойно сказал:

— Надо ещё купить духов! У меня все вышли. Самое верное средство против детских запахов — только духи! Я бы, к примеру, купил «Манон» или «Москва», ничего себе духи, в Олонце ещё имеются в продаже... А так что же — будет пахнуть, в этой люльке перебыло десятков младенцев.

— Чёрт знает, как распустился! — сердито сказал Воронин. — Думаешь, не знаю, куда ты деваешь купленные духи? Думаешь, не знаю?

— Так я же всё этот «стол» поливаю, — нараспев сказал Свернигора, и глаза его уже смеялись, и дрожали его мясистые губы.

Но Воронин снова строго и сердито сказал:

— Ты брось эти штучки. Девочек одариваешь! Мне это передали. И вообще прекрати шашни в посёлке!

Свернигора обиженно посмотрел на комбата:

— Так что же мне делать, когда они сами пристают?! Не гнать же их от себя... А насчёт детских запахов — надо подумать. Стол, что ли, настоящий поискать?

— Давно бы надо догадаться! — в том же сердитом тоне сказал Воронин. — Что это за мясо?

— Подарочек вам. Михайлов прислал. Они утром убили лося пудов на четырнадцать. — Свернигора потрогал мясо. — Хорошо бы на шашлычок. Мякоть одна. А то можно и котлеты сделать, отбивные.

— Что будем есть, капитан? — спросил у меня Воронин. — Жарко, что-то не тянет на мясо, правда, а? Хорошо бы окрошку сейчас, а? Правда бы хорошо? Да и холодного пивца... — пришёл он в азарт от разыгравшегося аппетита.

Я был голоден с пути, согласен даже на кусок хлеба, а потому не вдался в обсуждение «заказа». Воронин велел приготовить отбивные со свежей картошкой.

Свернигора взял мясо и вышел из землянки.

Воронин, глядя ему вслед, любуясь его крепкой фигурой, неторопливым морским шагом и покачивающейся корабельной походкой, сказал:

— Ну, и плут же! Не могу с ним серьёзно говорить! То ли он играет, актёрничает, то ли на самом деле такой. И сержусь на него, и люблю его. В нем есть всё-таки что-то замечательное! Ты вот поговори с ним разок, разгадай-ка его!

— Меня он заинтересовал ещё в прошлый раз, — ответил я. — Раненый, истекая кровью, он смотри какие слова сказал военфельдшеру: «У кого сердце бьётся за Родину, тот не может умереть!» Какие слова, а?

— Хорошие.

— Золотые слова, Воронин! Парень он хороший, только озорник. Но озорство это у него пройдёт. Повоюет месяца два, познает трудности войны и станет бесценным солдатом.

— Да, — задумчиво протянул Воронин, — на высоте «Брат и сестра» он хорошо себя показал...

В это время на оборону батальона обрушилась артиллерия противника, ему начали отвечать наши батареи, и непрекращающимся гулом наполнился лес.



К двум часам дня огневой поединок прекратился, и я вернулся в землянку Воронина. Она вся была засыпана песком. Весь в пыли был и комбат. Он только что вернулся из второй роты, которой особенно досталось от вражеской артиллерии. Там были и убитые, и раненые. Воронин был в подавленном состоянии, и мы молчали. Потом его вызвали к телефону, он долго разговаривал.

В землянку вошёл Свернигора, доложил, что обед готов. Воронин молча кивнул ему. Свернигора стал накрывать на стол, потом ушел в «камбуз», принёс сковороду с ломтями

поджаренного мяса и мелкой свежей картошкой и сел у порога.

Я дождался, когда Воронин закончит телефонный разговор, и мы сели обедать. Комбат съел кусочек мяса... и бросил вилку на стол.

— Нет, не могу есть! Нет аппетита.

— Вы и вчера почти ничего не ели, — сказал Свернигора.

— Ну, и чёрт со мной! На войне не обязательно обедать каждый день! — не без раздражения ответил комбат.

— Зря огорчаетесь, — сказал Свернигора. — Убитые и раненые будут каждый день... А кушать всё равно надо. Как же не кушать?

Я почувствовал себя неловко, с трудом доел кусок мяса и положил вилку на стол.

— Ты ешь, капитан, ты с дороги, на меня не обращай внимания, — виновато сказал Воронин.

Надо было что-то сказать, и я сказал:

— Жарко!.. Мясо жирное!.. Вот если бы к нему было что-нибудь солёного или кислого...

— Это верно! Тогда бы и я поел. — И Воронин с укоризной посмотрел на Никиту Свернигора. — Чем шашни разводить в посёлке, ты бы лучше о комбате позаботился. Насчёт кваску бы подумал, или, скажем, о свежепросоленных огурчиках. Вот это была бы забота о живом человеке!

Свернигора вскочил с места.

— Тогда, может быть, обед вам подать немного попозже?.. Я достану огурцов!

— Достанешь! — протянул Воронин.

— Ей-богу, достану! — загорелся Свернигора. — Вы только прикажите!..

— Рядовой Никита Свернигора, — смеясь сказал Воронин, — приказываю к ужину достать солёных, а ещё лучше — свежепросоленных огурцов!

— Есть! — щёлкнув каблуками, широко улыбаясь, ответил Свернигора.

— Выполняйте! — сказал Воронин.

Свернигора стал убирать со стола. Я и комбат закурили и вышли наверх. Пока мы размышляли, в какую роту нам пойти, Воронина вызвали к телефону. Я остался ждать его под сосной. Вскоре мимо меня, с автоматом за плечом и тремя дисками на поясе, торопливо прошёл Никита Свернигора. Я спросил у него:

— Не в поход ли за огурцами? — Вид у него был героический.

— За огурцами! — ответил он и скрылся в кустарнике. Из землянки вышел встревоженный Воронин.

— Пойдём в первую роту, капитан. Гитлеровцы, видимо, что-то затевают. Нагнали баб на берег, пляж устроили, и ребята не знают, как с ними поступить. И учти, капитан, — понизив голос, взяв меня под руку, сказал он, — это после такого артиллерийского налёта!.. Где-то что-то они определённо затевают. Отвлекают внимание, дураков ищут. Я им сейчас, гадам, покажу!

До роты было не больше километра. Минут через двадцать мы уже были на месте.

Рота занимала оборону на «пяточке», по берегу, при впадении Тулоксы в Ладожское озеро. Здесь мы увидели такую картину: на той стороне, на пологом песчаном берегу загорало до тридцати или сорока женщин, столько же плескалось в озере и в реке. Полупьяные или совсем пьяные, они на ломаном русском языке горланили неприличные песни. Некоторые из них заплывали к нашему берегу, высывались из воды, зазывали краснофлотцев на тот берег.

Три станковых пулемёта с разных концов нашего берега дали вверх несколько коротких очередей, и на той стороне такое поднялось: с воем и плачем, толкая друг друга, падая и поднимаясь, купальщицы бросились бежать в лес, оставив на берегу и свою одежду, и махровые полосатые и клетчатые полотенца, и патефон с заведённой пластинкой...

Весь день и вечер я и Воронин провели на берегу, побывали ещё в третьей роте. Чего только не придумывали гитлеровцы, чтобы деморализовать наших бойцов! Автоматы-пистолеты тогда для многих ещё были новостью, и они, ведя беспорядочную стрельбу разрывными пулями, дающими двойной звук, создавали видимость «окружения». Широко они использовали ракеты и выпускали их десятками, всех цветов и с разных мест. Очень часто то тут, то там гитлеровцы во всё горло начинали орать «Аля-ля-ля», делая вид, что идут в атаку, форсируют реку. Порой с той стороны метали гранаты. Но спокойствием отвечал наш берег.

В двенадцатом часу ночи мы вернулись на командный пункт батальона. Аппетит у меня был волчий. Осповательно проголодался и Воронин. В землянке мерцала коптилка, в глубине землянки за полевым телефоном сидел связист и всё вызывал «помидору», и Воронин, крикнув Никиту Свернигора, с удовольствием потёр руки, сказал:

— Поедим же сейчас огурчиков! Жаль, что нет помидоров. Салатик бы сделали...

Зашуршала плащ-палатка, и в землянку просунулась голова часового.

— А Свернигора нет, товарищ капитан. Как с обеда ушёл, так и не приходил ещё. Не знаем, что даже подумать. Может быть, кока разбудить, ужинать, наверное, хотите?

— Кто это? — спросил Воронин.

— А это я, часовой, комендор Алексеев.

— Не узнал. Не приходил, говоришь? Не знаете даже, что подумать?

— Так точно, товарищ капитан. Сказал, что часа через два будет, а прошло уже целых десять. Не случилось ли что с ним?

— Скажи коку, пусть иакормит нас, пусть и чайку принесёт, — оборвал разговор Воронин, и, когда заглохли гулкие шаги часового, он ударил кулаком по шаткому столу: — Будь неладны эти огурцы! И зачем это я отпустил его в посёлок?

— А далеко ли до посёлка? — спросил я, чтобы что-нибудь сказать.

— Близко. За это время можно было бы в Лодейное поле сходить и обратно вернуться.

В голову лезли всякие мрачные мысли (на войне всё может быть!), я чувствовал себя виноватым. Это я завёл разговор о «солёном и кислом», виноватым меня, по-моему, считал и Воронин, потому что он избегал моего взгляда и как-то даже недружелюбно косился в мою сторону, но в землянку с подносом в руке вошёл кок, накрыл стол, и мы сели ужинать.

Пожинав и принявшись за чай, мы снова заговорили о Свернигора. Комбат не на шутку забеспокоился о нём. Но, поразмыслив, что ночью он бессилён что-нибудь предпринять, сказал: «Утро вечера мудреней!», закурил и, не доев чай, лёг на койку.

Нам не спалось, где-то недалеко ложились снаряды противника, от каждого разрыва земля осыпалась с потолка, в землянке было душно, мы долго ворочались на своих койках, потом Воронин велел телефонисту узнать, куда бьют гитлеровцы, тот вызвал «репу», но «репа» ответила, что бьют не по её участку, а по «помидоре», комбат повернулся на другой бок, и вскоре я услышал его свирепый храп и сам заснул.

, \* \*

\*

Где же в это время пропадал и что делал Никита Свернигора?

Придя в посёлок за огурцами, он не застал там и половины населения, — народ эвакуировался в Олонец и дальше на восток. Он обошёл все дома и безрезультатно: огурцов нигде не было. Возвращаться же с пустыми руками в батальон было не в характере Свернигора, и он долго сидел в доме у колхозного кузнеца и мучительно думал: куда бы ещё пойти?.. Поблизости, правда, были ещё кое-какие деревеньки, туда можно было бы сходить, но старик-кузнец пре-

дупредил его, что и там он уже никого не найдёт, колхозы снялись с мест... Можно было бы сходить за двадцать километров в Олонец, но и там, говорил кузнец, не было привоза огурцов, колхозникам было не до них в это горячее, военное лето.

И вот сидел Никита Свернигора и мучительно думал, куда бы пойти за огурцами, как в избу вошла подслеповатая старуха с клюкой в руке, пропела:

— Спасибо, Семёнушка, на хлебе, на милостыне, кормилец, спасибо, спа-а-сибо-о-о-о, — и низко, в пояс, поклонилась Свернигора.

— Что тебе, бабушка? — спросил он.

— Хлеба просят, беженцы, — сказал кузнец и подал старухе кусок хлеба.

— Спасибо, Семён Васильевич, на хлебе, на милостыне, кормилец, спасибо, спа-а-а-сибо-о-о-о, — вновь пропела старуха и поклонилась Свернигора.

— Бабушка, да ведь меня не Семёнушкой и не Семёном Васильевичем величают! Да и благодарить его надо, — кивнул он на старика.

— Мне бы рубля, сыночек, далеко, говорят, от ворогов уходить надо, — выпрямилась старуха, — не чаяла, не думала, что на старости лет останусь спротой, и вот побираюсь по людям... Ох, ох, горюшко моё, ноженьки мои никудышные!

Свернигора достал из кармана деньги, протянул старухе червонец, спросил:

— А из какой ты деревни будешь, бабушка? Нет ли у вас там огурцов? Вот скажи, что есть огурцы, — и тридцати не пожалею!

— С того берега она, там теперь финны, — сказал кузнец.

Старуха, увидев, что в этой избе можно немного отдохнуть, присела на скамеечку, вытянула ноги, застонала: «Ох, ох, горюшко моё, ноженьки мои никудышные!» Потом сказала: «Да как же не быть огурцам-то, милый ты мой сыно-

чек, кадка трёхведерная дома стоит, много и всего другого осталось этим антихристам-фашистам»...

— Да что ты говоришь, бабушка! — Свернигора вскочил с места. — Побожись, что правда, а? Побожись, тридцатки не пожалею!

Старуха посмотрела вокруг себя и, не увидев нигде икон, повернулась к окну, глядящему на восток, и перекрестилась, да и не раз, а раз десять!

Выслушал старуху Свернигора, загорелся весь, подробно расспросил её о деревне, о её доме и решил: он проберётся на тот берег, в деревню, в дом, в котором жила старуха! Он достанет огурцы, выполнит приказание командира!

Решено — сделано. Он пришёл в расположение второго батальона, где наиболее удобно переправиться на ту сторону, среди белого дня переплыл Тулоксу, скрылся в лесу. У гитлеровцев на том берегу не было никаких оборонительных сооружений, со дня на день они собирались к новым наступательным боям, а потому для смельчака не представляло особого труда пробраться к ним в тылы.

В лесу Свернигора набрёл на тропинку и пошёл по предполагаемому направлению к деревне. По пути ему встречались группы вражеских солдат, велосипедисты, но он их удачно обходил или пережидал, спрятавшись в кусты, пока к вечеру не выбрался на дорогу, ведущую в деревню, и не увидел деревни. Взяв левее от дороги, он стал осматриваться вокруг... Пролежал он больше часа в кустарнике, дожидаясь сумерек, как вдруг где-то поблизости послышались голоса русских мальчиков, потом раздался звон пилы.

Он пошёл на звон пилы и вскоре на небольшой поляне увидел двух мальчиков в возрасте четырнадцати-пятнадцати лет, которые пилили поваленную наземь сосну. Метрах в пяти от них сидел рыжеволосый гитлеровский солдат. Положив рядом с собой автомат на траву, он что-то писал, слюнявя карандаш и сосредоточенно выводил строки.

Свернигора с такой стремительностью бросился на солдата, что тот и опомниться не успел, как уже лежал с кляпом во рту. Он стянул ему назад руки и связал ремнём, а мальчики, навалившись всем телом на солдата, в неистовом восторге, точно коня, стреножили его.

Свернигора вскочил на ноги, крикнул мальчикам:

— Айда, ребятки, деревню брать!

Мальчики кинулись обнимать его, и младший сказал:

— Наши пришли!

— Я один — за всех! — ударил себя в грудь Свернигора.

— А это правда, что они Ленинград взяли? — спросил старший мальчик.

— Да что вы, ребятки, разве Ленинград мы отдадим фашисту? Кто вам такую чушь сказал?

— А вот они, черти! — Мальчик обернулся и ударил солдата ногой. — Они говорят, что и Москва взята. Но мы им не верили. Я даже плакал, когда они сказали, что Москва взята...

Рыжеволосый солдат, связанный по рукам и ногам, точно уж, извивался на траве, и его багровая, кровью налитая шея, казалось, готова была лопнуть от напряжения: он силился разорвать ремень на руках.

По совету меньшего мальчика, Бори, они углубились в лес. Прихватили с собой и пленного, — пришлось ему развязать ноги, — хотя и не знали, что делать с ним в дальнейшем. Но Свернигора осенила озорная мысль: «Приведу «языка»! Вот будет потеха в бригаде!» — и он рассмеялся, зажав рот рукой.

Мальчикам его весёлость казалась подозрительной, и они стали у него допытываться: кто он и зачем пробрался сюда с того берега?

— За кладом пришёл, ребятки! — сказал Свернигора.

— За каким это кладом? — настороженно посмотрев на него, спросил Саша, старший мальчик.

— А вот за каким! — Скорчив хитрую мину, Свернигора вынул из кармана листок бумаги, развернул его, показал план деревни, старушечий дом и ткнул в него пальцем: вот здесь, в этом доме, хранится клад!

Мальчики переглянулись и рассмеялись: да ведь это дом Антонихи, их соседки, и никакого клада там не может быть, старуха она пребедная, живёт только помощью сына из города.

— Вы, кажется, принимаете нас за дураков, — даже обиделся Саша. — А мы не дураки. Я кончил семь классов, с отличием сдал экзамены. Все на пятёрки! А Борька кончает ремесленное училище...

— Я знаю, кто вы! — с загадочным видом сказал Боря. — Вы — разведчик! Пробрались сюда взорвать штаб у фашистов! Правда, нет?.. Собрать нужные сведения для командования? Правда, нет?

— Правда, ребятки, я разведчик, — сказал Свернигора.

— Ну, давно бы так! — обрадовался Саша. — Будемте знакомы. Меня звать Саша, его — Боря...

— А меня — Никита, — Свернигора крепко пожал мальчикам руки.

— А вы знаете, одного вашего моряка они сожгли на костре! — сказал Боря.

Свернигора нахмурился:

— Ну, этого не может быть...

Мальчики вновь переглянулись и с сожалением посмотрели на него: какой он наивный, право! Саша стал рассказывать про раненых краснофлотцев, захваченных гитлеровцами при отходе морской бригады от Видлицы на Тулоксу, про их казнь на народе... Он рассказывал и плакал. Прослезился и Боря. Он взял руку Свернигора и положил себе на голову.

— Видите, сколько шишек на голове? Верите?

— Кто бил? — совсем помрачнев, спросил Свернигора.

— Вот он, собака! — Боря указал на рыжего солдата. — Он целый день сидит и пишет письма, а мы всё цулим дро-

ва, а если перестаём пилить, он встаёт и бьёт нас автоматом по голове.

Свернигора подошёл к гитлеровцу, готовый выпустить в него очередь из автомата, но только пнул его ногой, сказав:

— Снимите-ка, ребятки, с него одежду! Мы им покажем, проклятым фашистам, где раки зимуют.

Мальчики охотно принялись выполнять его приказание, а Свернигора с автоматом в руках стал на часах.

Это были хорошие, смелые русские мальчики. Саша был из Ленинграда, в деревню он приехал к тётушке на каникулы. Боря учился в ремесленном училище на Свири-3, в деревню приехал навестить бабушку. В тот день, когда деревня была занята гитлеровцами, они с утра ушли бродить по лесу: Саша — вооружённый охотничьим ружьём, а Боря кухонным ножом. С ними ещё был Томика, пёс верный, помесь волкодава с гончей. Саша и Боря подбирали в лесу винтовки, каски, противогазы, помогали санитарам выносить раненых, пока не встретились с вражескими автоматчиками... Они горько плакали от обиды, что им не удалось «повоевать» с фашистами, и ещё им было жаль Томика. Автоматчики убили собаку, а их вместе с другими пленными бросили в сенной сарай на окраине деревни. Пять дней их держали без воды и хлеба, а на шестой вывели в лес, и с того дня, с утра до позднего вечера, до самых сумерек, заставляли пилить дрова для офицерской столовой. И их всё караулил этот рыжий солдат с автоматом, перекинутым через плечо; под звон пилы с утра до вечера он или сочинял стихи, или же писал письма своей возлюбленной. Рыжий особенно недолголюбивал Борю, потому что тот болезненно переносил побои. Саша же больше всё молчал, кусал себе губы и сквозь зубы только твердил одно: «Ладно, ладно!» И солдату больше нравилось бить автоматом Борю, слышать его стоны и плач...

Никита Свернигора первым делом решил освободить из фашистской неволи наших пленнх, среди которых были и

красноармейцы, и колхозники. Это решение у него созрело мгновенно!

Захватив с собой автомат рыжего солдата, а самого его с кляпом во рту запрятав в гуще леса, они стали пробираться на другой конец деревни. На опушке леса Свернигора сунул в кусты трофейный автомат и, ещё раз прорепетировав с мальчиками «нападение на сенной сарай», надвинул на глаза фуражку с длинным козырьком, перекинул через плечо ремень автомата и, насвистывая что-то непонятное, повёл своих «пленников» через открытую поляну...

Сенной сарай, больше похожий на ригу, огороженный тремя рядами колючей проволоки, стоял посреди поляны. Перед сараем расхаживал часовой-автоматчик. Было уже совсем сумеречно. Услышав насвистывание Свернигора, часовой насторожился, но, увидев русских мальчиков, которые в это время обычно возвращались с работы, крикнул им:

— Работай, работай!..

— Мы уж наработались, наработайся с нас!—крикнул ему в ответ Саша.

Но часовой не знал других русских слов и снова крикнул им:

— Работай, работай!..

Потом он что-то крикнул по-фински Свернигора. Но тут вступил в свою роль Боря. Он стал громко ругаться, грозить кулаком «рыжему» и отбегать от него... Свернигора нагнал его и «ударил» автоматом в спину. Тогда стал ругаться Саша. И его «ударил» Свернигора. Часовой залился смехом, ему было очень весело. Но мальчики ещё громче стали ругать «рыжего» и, когда тот пытался снова их «ударить», они побежали к сараю. Часовой дал им подзатыльника и открыл проход в проволочном ограждении. Потом он открыл замок на дверях сарая. Саша и Боря прошли в дверь, погрозили часовому кулаком и показали ему язык. Часовой страшно рассвирепел, вбежал за мальчиками в сарай и уж было занёс над ними свой автомат, как... ему

на голсу со страшной силой опустил приклад автомата Свернигора!

Никите Свернигора ничего не пришлось рассказывать нашим пленным о себе. За него это, сбиваясь и перебивая друг друга, проделали Саша и Боря.

Тогда со всех концов обширного сарая стали подниматься люди и пожимать ему руку. Некоторые обнимали его и плакали от радости.

— Не будем терять время, братцы! — сказал Свернигора. — Самый смелый из вас пусть переодевается в одежду часового. У каждого по автомату! И у нас ещё имеется третий автомат в запасе...

— Я переоденусь, товарищ, я!.. — потянулись к нему со всех сторон руки.

И тогда из глубины сарая раздался голос:

— Браток, дай мне переодеться! Я карел! Хорошо знаю финский язык. И стрелять из автомата умею! В 39 году я неплохо бил лахтарей... Я, браток, разведчиком был...

— Проконен, давай выходи сюда! — крикнул ему Саша и повис на плече у Свернигора. — Возьмите Проконена, он у нас самый храбрый и самый сильный.

— Проконена, Проконена! — раздался голоса. — Сашка правильно говорит.

— Проконен, где ты? — крикнул Свернигора. — Выходи сюда!

Из задних рядов к нему протиснулся богатырь в красной клетчатой рубахе.

Они крепко и молча пожали друг другу руки.

— Лесоруб? — спросил Свернигора.

— Тракторист, товарищ... Будем пробиваться к нашим? — Проконен сел на землю и торопливо стал расшнуровывать ботинки. — Тогда надо достать ещё два-три автомата. Народу у нас много. Будем пробиваться наверняка!

— Что ты предлагаешь?

— Первым делом напасть на контрольный пункт, он тут у них находится недалёко, захватить у охраны автоматы и винтовки, вернуться сюда и лишь потом пробиваться через Тулоксу.

— Согласен! Толковый план! — Свернигора хлопнул тракториста по плечу. — Давай тогда не терять время! Нам следует ещё штаб тут поднять на воздух...

Проконен переоделся, взял автомат, и они вышли на улицу. На всякий случай Свернигора повесил на сарай замок и закрыл проход в проволочном заграждении: если патруль и обнаружит пропажу часового, то пленники будут вне всяких подозрений.

В это время залпы тяжёлых орудий прогремели в деревне и точно вспышки молнии осветили темноту.

\* \*

\*

Проснулся я от сильной артиллерийской канонады. Соседняя койка была пуста. Телефонист, как призрак, сидел в своём углу, клевал носом и всё бубнил: «Я — луковица, я — луковица»...

— Где комбат? — спросил я, вставая. — Что случилось?

— Ничего особенного, — сонным голосом нехотя ответил телефонист. — Артиллерия состязается.

— А комбат давно ушёл?

— Давно. Ушёл во второй батальон, к Корневу. Туда и все ушли.

— Ну, так, значит, что-то случилось там?

— Да нет, Свернигора вернулся, поглядеть на него пошли.

Я забрал полевую сумку и направился во второй батальон.

Сухой сосновый лес стоял изрубленный осколками мин и снарядов, во многих местах сожжённый, но в косых, солнечных лучах, а потому был прекрасен и казался тишайшим

лесом, хотя всё вокруг гремело и рокотало от грома артиллерии.

Вскоре позади я услышал топот коней. Это с адъютантом ехал комиссар бригады Емельянов.

Значит, случилось что-то важное, раз Емельянов был на коне! Верхом он ездил в редком, если не в исключительном случае. Обычно же он пешим бродил по ротам и батальонам. Потомственный моряк, толстый, кругловатый, он был забавен на резвом пугливом коне, который, дико выкатив глаза, готов был в любую секунду сбросить его с себя. Но комиссар крепко держался левой рукой за седельную луку, правой небрежно помахивал концом повода.

С подчёркнутой молодцеватостью придерживав горячего коня, Емельянов поздоровался, сказал:

— И подумать только, что это за орёл Никита Свернигора! Герой, второй раз герой! Теперь, братец, о нём придётся закатить статью в самой «Правде», теперь уж никаких объективных причин! — Явно не желая вдаваться в объяснения, комиссар обернулся к адъютанту, сказал:—Василий, утро хорошее, прогуляйся до батальона, а мы с капитаном уж поспешим туда.

Василий, молодой чубатый моряк с гордой осанкой и презрительным взглядом, нехотя спешил со своего коня, нехотя вручил мне повод, потом достал из кармана крохотную курительную трубку, сунул её пустую в зубы и, нервно посасывая костяной мундштучок, отошёл в сторону, с нескрываемым любопытством наблюдая, как это «товарищ корреспондент» сядет на его коня.

Не успел я с комиссаром проехать и километр, как из-за поворота дороги показалась большая группа пленных гитлеровцев под охраной... двух мальчиков с автоматами!.. Вслед за ними шло человек тридцать парней и мужиков. Многие из них были вооружены, некоторые — ранены и перевязаны свежими бинтами. Замыкал шествие высокий, плечистый, голубоглазый богатырь в красной клетчатой рубаше. На плече он нёс ведёрную кадку.

Когда мы поравнялись с ним, я приподнялся на стременах и заглянул внутрь кадки. Моему примеру последовал и Емельянов. Кадка чуть ли не доверху была полна свежесолёнными огурцами...

Я рассмеялся, поняв, в чём дело, но комиссар только пожал плечами. Он хотел что-то спросить у меня, но в это время из-за поворота дороги показалась большая толпа краснофлотцев. Впереди шёл Никита Свернигора. Он был без рубахи, в одной тельняшке, и чуть ли не весь был перебинтован. Вид у него был измученный и усталый. Но брови сурово были сдвинуты, сталью отсвечивали глаза, и гневный голос его гремел в толпе. Он, видимо, рассказывал о злодеяниях гитлеровцев, о том, что видел на той стороне Тулоксы...

---

---

---

## ДОМИК НА ШУЕ

Проводив последний эшелон в Медвежегорск, я и Огарков побрели по пустынной Кондопоге. Печально выглядел город без жителей. На пыльных улицах валялись развороченные сундуки, разбитые шкафы, детские люльки, раскрытые буквари и тетради. В разных частях города горели дома, но тушить их уже было некому.

Чуть ли не у каждого ворот лежало по две, по три собаки. Ещё вчера с громким лаем, стаями, они носились по улицам, неведомо чему радуясь, а сегодня присмирели, лежали, положив морды на лапы, и слезящимися глазами провожали редких прохожих. Хозяева их покинули, и это они чувствовали своим собачьим чутьём...

Я с Огарковым был оставлен для связи с передовыми частями, обороняющимися Шую, и нам предстояло добираться туда.

До моста через Суну мы доехали на пятитонке с боеприпасами, дальше — пошли пешком.

Петрозаводское шоссе было безлюдно. Холодный ветер пробирал до костей, рвал полы наших шинелей. Шли мы пригнувшись, взявшись за руки. Мало весёлого было в нашем положении, но мы не унывали. На то мы были фронтовыми журналистами! Ко всему ещё с Огарковым было легко в любом, даже самом тяжёлом походе. Газетчик он был молодой, но человек смелый, находчивый, изобретательный, прекрасный товарищ. Правда, у него был один существенный недостаток: он любил покушать, тяжело переносил голод.

Вот и в этом «походе на Шую» то и дело я слышал:  
— Хорошо бы покушать сейчас...

Я тоже был голоден. Третий день мы почти ничего не ели. Но я старался не думать о еде, лелея в душе надежду добраться до первой солдатской кухни на Шую, а там уж досыта поесть. Огарков же своим «Хорошо бы покушать сейчас...» возвращал меня к действительности, и тогда я чувствовал и голод, и холод, и усталость, и ноги начинали подкашиваться у меня.

После долгих размышлений я сказал:

— Знаешь что, Саша? Давай идти врозь. Так будет лучше.

Огарков с неохотой принял мое предложение, он не переносил одиночества, но я ускорил шаги, и вскоре он уже плёлся далеко позади меня.

Так мы, видимо, прошли около пяти километров. На развилке шоссе мне встретились два офицера. Я у них узнал о местонахождении командного пункта полка Спиридонова, дождался Огаркова, и дальше мы уже пошли вместе. Дело близилось к вечеру, было уже сумеречно, и нам следовало торопиться.

Вскоре на повороте шоссе показался небольшой посёлок. В одном домике мерцал огонёк. Мы облегчённо вздохнули и закурили. Дальше пошли спокойнее, уже предвкушая сладость отдыха и пищи.

Но тут вдруг случилось неожиданное. На том берегу Шуи раздались оружейные выстрелы и впереди нас, метрах в трёхстах, на шоссе легли четыре снаряда.

Мы бросились на землю, угодив прямо в грязь.

— Весёлая встреча! — только успел сказать Огарков, как снова четыре снаряда разорвались на шоссе. Мы поднялись, бросились бежать вперёд, во-время достигнув воронок от первых снарядов.

Всё новые и новые снаряды ложились на шоссе. Разрывы были необыкновенной силы, и мы принялись гадать: какими же снарядами стреляет противник? На шестидюйм-

мовку было непохоже. Воронка, в которой мы лежали, была метров пять в диаметре. И это — на шоссе́йной дороге!

Мы ждали новых снарядов, но их больше не было. Тогда мы вылезли из воронки и направились на мерцающий огонёк в окне.

Мы вошли в небольшой домик, и первое, что бросилось нам в глаза, — это самовары. Их было штук десять или двенадцать, стояли они на полу и на столе.

— Что — не выставку ли самоваров здесь устраивают? — спросил Огарков.

Два молоденьких лейтенанта, находившиеся в комнате, искоса посмотрели в нашу сторону и, не обращая на нас никакого внимания, продолжали торопливо упаковывать вещи. На наши расспросы, где командир или комиссар, они ответили что-то невнятное, из чего мы заключили, что командный пункт полка переехал куда-то туда, правее дороги, вглубь леса, и что они сами ещё толком ничего не знают.

Мы сели на железную кровать и молча уставились на лампу. Лейтенанты взвалили мешки себе на плечи, — в это время где-то близко раздались новые разрывы снарядов, — и торопливо вышли, пробурчав: «Дьяволы, опять нас ищут!»

Мы всё продолжали сидеть в тёплой и уютной комнате, ещё не осознавая того глупого положения, в которое попали, и неотрывно смотрели на приветливый тихий огонёк в лампе, от которого так было хорошо.

Но вот Огарков встрепенулся, встал.

— Где же нам кухню́ку найти?

— Надо поискать, — сказал я.

Огарков вышел на улицу, но поиски его оказались тщетными. Он вскоре же вернулся назад и в отчаянии завалился на кровать: вокруг ни единой души, безлюдный лес!

Надо было что-то сказать, чтобы успокоить друга, и я сказал обнадеживающе:

— Не отчаивайся, подождём, наверное, кто-нибудь да зайдёт сюда.

— А что, если никто не зайдёт? На покинутый командный пункт незачем ходить.

И тут только до меня дошли слова лейтенантов: «Дьяволы, опять нас ищут!», и я понял, что сюда, возможно, никто и не зайдёт, обстрел этот ведётся именно из-за этого домика, где ещё не так давно находился командный пункт полка.

— Надо занавесить окно, — посоветовал я Огаркову.

— Стоит ли?.. Может быть, и на самом деле кто-нибудь забредёт на огонёк?..

— Ладно, пошли тогда на поиски! — сказал я, и мы вышли на улицу. Но была такая темень, такой ветер и так было холодно, что мы немедленно вернулись в домик, к нашей лампе.

Огарков потрогал самовары, стоявшие на столе, один из них оказался тёплым. Он посмотрел в печь — там тлели угольки и вкусно пахло, но пищи — никакой.

— Где же, чёрт бери, покушать-то наконец? — крикнул он в отчаянии.

И, словно ему в ответ, на землю обрушилось несколько снарядов.

В это время дверь распахнулась и в комнату ввалились двое: капитан-пограничник и боец, видимо, его связной. Капитан изумлённо спросил:

— Неужели КП переехал?

— Переехал, — сказал я. — Куда — сами не знаем.

— Тысяча чертей! Что же нам делать?.. — Он представился. — Львов. Командир батальона. — И сказал своему связному. — Погреемся, отдохнём, а там будет видно, что делать.

Они только сели за стол, как снова начался артиллерийский обстрел. Снаряды разрывались недалеко от нашего домика. Мы выбежали на улицу. Вокруг всё трещало и сметалось с земли.

По настоянию капитана Львова мы вернулись в домик. В это время снаряд ударил под ближнюю сосну и несколько осколков просвистело по комнате.

Мы прижались к русской печке, затаив дыхание, в ожидании того единственного снаряда, который покончит и с домиком, и с нами. Но артиллерийская буря прошла дальше.

Капитан Львов подбежал к самовару, прикрыл рукой пробойну, из которой тонкой струйкой фонтанировала вода, сказал:

— А вода тёпленькая, други, мы ещё будем чаёвничать в этом доме. Сколько дней, Николай, чаю не пили?

— Десять! — ответил связной. Но я, товарищ капитан, готов ещё год не пить, не есть, но лишь бы живым уйти из этого проклятого дома.

— Но куда идти? — заделывая тряпочкой пробойну, спросил капитан. — Со мной не пропадёте! Раз я среди вас, будьте уверены, что с вами ничего не случится. Пусть их стреляют! Пусть изводят снаряды! Видимо, впустую ведут огонь, раз молчат наши батареи. Мы знаем вас, фашистов, нас не напугаешь! — пригрозив в окно кулаком, крикнул он и, рассмеявшись, сказал: — Ей-богу, со мной не пропадёте. Я человек счастливый.

— Счастье — счастьем, но всё же неплохо бы укрыться куда-нибудь. Должны же быть здесь где-нибудь землянки? — сказал Огарков.

— А если снаряд попадёт в землянку, — а он бьёт из тяжёлой, — так, думаете, живы останетесь?.. Такая дура легко разворотит и шесть накатов, а вы — землянка!.. Какие тут могут быть землянки, стоим в этих местах всего-то несколько дней.

Капитан поднял с пола белый самовар, осмотрел, цел ли он, перелил в него воду из пробитого осколком самовара, набрал углей в печи, и вскоре мы уже сидели за столом и пили чай, угощаясь скромным ужином, предложенным связным Львова.

Капитан был человек весёлый и жизнерадостный и смешил нас всякими забавными историями.

— Вот, — сказал он, вытащив из кармана портмоне. — Видите дырку? Отходили из Петрозаводска, был бой,

шальная пуля пробила брюки, пробила первую половину портмоне, продырявила все документы, деньги и осталась здесь лежать! — Он бережно вынул пулю и показал её нам. — Ведь как порой бывает в жизни! — Он спрятал пулю и из второй половины портмоне вытащил несколько фотографий. — А это дочка моя. Шалунья же, Мурзилка. Шестой годик ей пошёл, а видел раза три, не больше...

— А почему так? — спросил Огарков.

— А всё так! Всё с места на место колесишь! Я, други, все границы изъездил. Везде служил. Девятнадцать лет в погранвойсках, не шутка сказать. Всего повидал, а вот живой сижу среди вас. Ведь как порой бывает в жизни!.. В операцию против хунзусов был награждён золотыми часами. Жалко было носить, да носил. Часы штука нежная, но нужная. И вот уже в Таджикистане как-то ловили басмачей. Главный их, какой-то «святой», пошёл на меня с саблей. Я тоже выхватил свою, но прежде чем успел её занести, басмач ударил саблей, я отпарировал удар, он снова ударил, я вновь отпарировал, тогда он ударил в третий раз, поло-снул меня по руке. И мог же ведь кисть отсечь, а нет, удар пришёлся по часам, он их разрубил пополам, только вот шрам остался. — Капитан расстегнул рукав и показал шрам.

— Да, вы счастливый человек, — сказал я. — Как мне пришлось наблюдать на войне, «счастливыми» всегда оказываются умелые, храбрые воины, «несчастливыми» — трусы и лентяи. Что — не так разве? — спросил я.

— Я же говорю, что со мной не пропадёте! — хитро подмигнул мне Львов.

— А вы, товарищ капитан, про мину расскажите, — улыбаясь, попросил связной.

— Не поверят, — махнул рукой Львов и налил себе третью чашку чая.

— Расскажите. Если поверили двум случаям, то поверим и третьему, — сказал я.

— Раз просите, тогда расскажу. Значит, был такой случай. Попали под миномётный обстрел. Кричу ребятам: «Ло-

жись!» Поблизости как раз были вырыты какие-то ямы на скорую руку. Народ быстро попрятался в них, и я полез в одну яму. Сажу, пригнувшись, и переговариваюсь с комиссаром. Он сидит в соседней яме, шагах в пяти от меня. А фашисты всё стреляют и стреляют! Мин у них, видимо, пропасть какая. Ну, вскоре всё это надоело. Дня три не спал, и стало меня клонить ко сну. Задремал. Как долго дремал — не знаю, но вдруг у самого уха услышал дьявольский свист, открыл глаза и снова зажмурил: меж ног у меня в землю врезалась мина!..

— Интересный случай! — сказал Огарков, заёрзав на стуле, и, неизвестно чему, рассмеялся. Это иногда бывало с ним.

— А мне не до смеху было, товарищ лейтенант, — сказал Львов. — И не до раздумий! — Он сердито посмотрел на Огаркова.

— Что же вы сделали? Как же вы остались живы? — участливо спросил Огарков.

Львов широко улыбнулся, сказал:

— Я схватил проклятую мину за хвост и выбросил из ямы!

— И не разорвалась она? — затаив дыхание, спросил Огарков.

— Разорваться-то она разорвалась, но только шагах в сорока от меня. Счастлив я после этого или нет? — в упор спросил у нас капитан.

— Ну, при чём здесь «счастье»? — развёл я руками. — Вы обязаны вашей находчивости, смётке и храбрости...

В это время приоткрылась дверь, нас обдало морозным воздухом, и в комнату ввалился незнакомец, весь облепленный снегом.

— Нашел всё-таки нас! — с радостью воскликнул капитан Львов и встал из-за стола.

— На огонёк пришёл! Как, дьяволы, стреляют, а? — спросил вошедший.

— Ну, ну, раздевайся, садись. Выпей чайку! Небось замёрз? И снег идёт?

Незнакомец был в ватной куртке, в шапке-ушанке, с трофейным бельгийским карабином за плечом. Подмышкой он держал скрипичный футляр. Был ли это пустой футляр или же в нём была скрипка, — это меня заинтересовало сразу же...

Капитан представил нам незнакомца:

— Мой начальник штаба — Гольдберг! Прошу любить и жаловать. Москвич. Скрипач. И довольно-таки известный скрипач! Под эту канонаду не одну вещь нам сыграет. Не так ли, Миша?

— Я же никогда не отказывался, товарищ капитан, — усталым голосом сказал скрипач. Распахнув ватную куртку, он сел за стол, положив скрипку на колени.

Львов налил ему чаю, достал из кармана сухарь.

Скрипач занимал всё моё внимание. Ему было лет двадцать пять, но выглядел он намного старше. Сутуловатый, обросший щетиной, с комками прилипшей земли на ватнике, он был похож на каменщика, на кого угодно, но только не на скрипача.

Львов, видя мое любопытство, сказал:

— Вот вам, товарищи журналисты, интересная судьба человека. В августе Гольдберг приехал на концерт в Ленинград, там узнал, что брат его тяжело ранен и лежит в госпитале в Петрозаводске, приехал к нему, здесь вступил в мой батальон и вот вместе с нами воюет! Правда интересно?

— Очень даже. Так вместе со скрипкой и воюете? — обратился я к Гольдбергу.

Окунув сухарь в чашку, Гольдберг сказал:

— Положишь скрипку на землю, постреляешь, снова возьмёшь её в руки. Немного неудобно, но что же делать, надо воевать!

Он так бережно держал скрипку на коленях, что я спросил:

— Страдивариус?

— Страдивариус, не Страдивариус, но тысяч десять стоит. Но дело не в цене, конечно. Это правительственный подарок, потому и бесценно. Карьеру свою я с ним начинал.

Дверь вновь распахнулась, и на этот раз в комнату вместе со связным ввалился майор Тимин. Майор в руках держал полупудовый осколок снаряда.

Тимина мы все хорошо знали и были рады ему. Он был строен, молод, горяч и среди артиллеристов славился как замечательный командир. Говорили, что в недавнем прошлом он был актёром. Что-то актёрское и вправду было в его манерах. Левая бровь у него была седая, и он как-то особенно умел поднимать и шевелить ею. Если в разговоре кто вспоминал майора Тимина, то обязательно вспоминалась и его стрельчатая серебристая бровь.

Вот и сейчас он вскинул седую бровь, спросил:

— Есть ли у кого циркуль? В артиллерии кто-нибудь из вас что-нибудь смыслит? Вот осколок! Попробуйте определить калибр снаряда!

Он торжественно положил осколок на стол и сложил руки на груди.

— Если на Шуге стоят немецкие артиллеристы, то это 210-миллиметровка. У финнов нет таких пушек! — сказал капитан Львов.

— Какими снарядами они стреляют, черти! — изумился скрипач, взвесив в руках осколок.

В это время вихрь снарядов обрушился совсем близко от нашего домика, и с потолка посыпалась штукатурка.

— Сейчас мы им ответим! — Майор Тимин схватил со стола осколок, сунул в руки связному и стремительно вышел на улицу.

Земля вся гремела от разрывов. Гольдберг, положив скрипку на колени, сидел на корточках у двери. Львов, прислонившись к печке, прихлёбывал чай из кружки. Огарков сидел на кровати, готовый заснуть от тоски. Нервы у нас у всех были напряжены, и мы молчали.

Но вот Львов подошёл к скрипачу, сказал:

— Чем слушать эту дрянь, ты лучше сыграй, Миша. Гольдберг молчал.

— Вставай, вставай! — Львов нежно приподнял его. По всему было видно, что он души не чает в своём начальстаба.

— Хорошо. Посмотрим, чья возьмёт! — Гольдберг вдруг решительно встал, сбросил с себя ватную куртку, энергично раскрыл футляр, вытащил скрипку, провёл смычком по струнам, наканифолил смычок и ударил по струнам.

Мы все сели на кровать. Звуки скрипки почти что полностью заглушили грохот снарядов. Гольдберг играл венгерский танец Брамса. В комнате точно засветило солнце. Много раз я слышал этот танец, но в исполнении Гольдберга он звучал особенно. Возможно, что и обстановка влияла на восприятие: на войне всё звучит иначе...

За Брамсом, не переводя дыхания, Гольдберг играл мазурку Шопена. Нежные мелодии зазвучали в комнате... Вытерев лоб, Гольдберг начал скрипичный концерт Мендельсона. Он торопился. Потом играл вальс из струнной серенады Чайковского и любимую вещь капитана Львова «Солнце низенько». Капитан подпевал, голос у него был печальный, и было видно, — он думал об Украине, где у него находились жена и дочь.

Гольдберг вдруг рванул смычок и, не докончив игры, ударил кулаком по столу, крикнул:

— Жить!

Львов вскочил, схватил его за руки:

— Что с тобой, Миша? Ну, ну, успокойся!..

— Как мы жили, как мы жили!.. Сволочи, ах, сволочи-фашисты! — Гольдберг задыхался от гнева.

И тут мы вновь услышали, как гремит земля от разрывов снарядов.

Львов взял из рук Гольдберга скрипку, положил на стол, а самого, постаревшего и обессиленного, привёл и

уложил на кровать, подложив ему под голову ватную куртку.

Восклицание Гольдберга «Жить!» звенело у меня в ушах. Говорить не хотелось. Мы все молчали, каждый был занят своими думами, мыслями, воспоминаниями...

Где-то близко ударили наши батареи.

— Тимин начал! — Львов подбежал к окну и стал вглядываться в темень. — Сейчас он им даст жару. Сейчас им покажет, что такое русская артиллерия. Давай, давай, давай! — в такт выстрелам батарей кричал Львов.

Мы опять сели за стол. Гадали: каков будет исход поединка? Лишь Гольдберг лежал на кровати.

Фашисты не унимались. Кажется, они даже усилили огонь. Но это продолжалось недолго. Вскоре орудия их одно за другим стали замолкать. Теперь наши усилили огонь. Мы торжествовали, готовые броситься в пляс. Артиллерийская музыка была не менее приятна, чем звуки скрипки, чем венгерский танец Брамса...

Лишь под самое утро прекратилась артиллерийская дуэль. Рассвело, и показался лёгкий снежный покров на земле. Мы с Огарковым стали собираться в дорогу, в полк. Но раньше нас, вместе со связным Львова из домика вышел Гольдберг. В одной руке он нёс свою драгоценную скрипку, в другой — бельгийский трофейный карабин. Но нас капитан задержал.

— Куда вы спешите? — сказал он. — Обстрел кончился, теперь можно будет немного и отдохнуть. Позавтракаем, а там и в дорогу! И мне надо в полк. Право, давайте вместе завтракать!

Пока гитлеровцы вели огонь, из домика нам не хотелось никуда уходить. Если мы и уходили, то немедленно же возвращались назад, к теплу и свету. Ну, а теперь, когда опасность миновала и была возможность отдохнуть от бессонной ночи, нас почему-то тянуло на улицу, скорее на улицу, подальше от этого проклятого места, покинутого командного пункта.

— Ну, как хотите! — нахмурившись, сухо сказал капитан. Он поставил на стол белый самовар, из которого мы вечером пили чай, и стал искать воду и угли.

Прощавшись, пожелав капитану счастливого завтрака, мы вышли на улицу и направились к дороге.

За дорогой лежали разбитые грузовики, на самой дороге — убитые лошади, опрокинутые солдатские кухни с расплёсканной чечевичной кашей и борщом. Стопудовые камни были вывернуты, точно камешки, вековые сосны срезаны у основания, словно тростники.

В посёлке целым стоял лишь наш домик, остальные были разрушены.

Мы пошли, покуривая и весело болтая. Мы уже были метров за пятьсот от «домика на Шуе», когда за рекой раздался орудийный выстрел... Над нами низко прошестел снаряд... Мы обернулись. И... прямым попаданием наш домик разнесло в щепки.

Ещё не осознавая случившегося, мы стояли и ждали новых выстрелов, напряжённо прислушиваясь к лесному шуму. Мы ждали долго, целую вечность, но выстрелов больше не последовало. Тогда мы побежали к разрушенному домику, окутанному столбом пыли и дыма.

— Капитан, капитан! — крикнул Огарков.

— Капитан! — крикнул я.

— Проклятье! — Огарков отбросил балку, преграждающую нам дорогу к заваленному проходу. — У немцев, видимо, заклинил снаряд в стволе орудия, вытаскивать его им было или лень, или опасно, и вот они пальнули в воздух! Так, не целясь никуда! «Разрядили пушку», как говорят артиллеристы. Огарков снова крикнул:

— Капитан!

И вдруг из лесу раздалось:

— Ау, ребята!

Мы обернулись... И увидели капитана Львова с ведром в руке. Он нёс ключевую воду для самовара.

---

---

---

## НА БЕРЕГУ ДУНАЯ

**М**ного героического, порой удивительного, видел во время переправы полноводный Дунай, вспененный артиллерийским огнём. Но вот первая сотня десантников на лодках, плотах и «амфибиях» добралась до правого берега, ворвалась в траншеи гитлеровцев, и гул боя вскоре всё дальше и дальше стал удаляться от реки.

На левом берегу, от солдата до генерала, все трудились в районе переправы. Понтонёры наводили мост, и к нему по всем дорогам, а то и прямо по полю уже мчались сотни и сотни танков и самоходов, тысячи грузовиков, и всё это, в четыре-пять рядов растянувшись на несколько километров в радиусе переправы, гремело, лязгало железом, поднимало пыль до небес, и солнца не видно было в этом аду.

Мы готовились к переправе на правый берег с территории рабочего посёлка какого-то завода. Пока товарищи мои чинили старую, ветхую лодку, принадлежавшую рыбаку-мадьяру, я помогал расчёту противотанкового орудия столкнуть в воду большой, тяжёлый плот.

Вдруг поблизости раздался лай собаки и к реке подбежала лохматая дворняжка. Удивительно было, как она могла сюда попасть. Собака неистово лаяла, подбегала к людям, звала их куда-то, но бойцам было не до неё: они грузили на барки орудия, ящики со снарядами, телеги и сами спешили попасть на тот берег.

Почувствовав собачьим чутьём, что я заметил её, лохматая дворняжка подбежала ко мне, закружилась вокруг мо-

их ног и с лаем бросилась в сторону. Она куда-то звала. Я последовал за собакой и, пройдя метров сто по берегу, увидел нашего десантника, лежащего невдалеке от свежей воронки. Рядом с ним валялись автомат, два «магазина», вещевой мешок. Боец не подавал никаких признаков жизни. Казалось, он убит. Но когда собака стала лизать ему ладонь, боец медленно поднял руку, погладил рыжую дворняжку, она села на задние лапы и, подняв голову, внимательно посмотрела на меня.

— Ранен? — спросил я у десантника.

— Ранен, — не открывая глаз и не поворачивая головы, еле слышно ответил он.

— Тяжело?

— Не знаю.

— А куда ранен?

— Не знаю. Ничего не чувствую. Ничего не вижу.

— Совсем не видишь?

— Совсем.

Я крикнул в сторону разбитых домов, где разгружали автомашины с ящиками снарядов:

— Санитара! Пришлите санитаров!

На крик мой никто не отозвался.

• Раненый осторожно повернул голову, спросил:

— Первый раз на переправе?

— Первый. А что?

— Я — третий раз... Когда форсируют реку, никого не докричишься. Время дорого.

— Как же быть? — Я остановился в нерешительности: не то надо были идти в поиски за санитаром, не то — оставить раненого на произвол судьбы и вернуться к своей лодке.

— А ты, браток, иди по своим делам, — сказал раненый. — Полкан меня не оставит. Мы с ним вместе из дому. От самой Волги! Слышал про такой городок — Чёрный Яр?.. Вот дай напиться и — иди!

Я с удивлением посмотрел на лохматую дворняжку, которая от Волги дошла до берегов Дуная, встретил взгляд её умных глаз и стал искать какую-нибудь посудину, чтобы зачерпнуть воды. Но такой посуды под рукой не оказалось.

— Может, выпьешь... вина? — спросил я, доставая флагу. — Силёнки прибавит!

Десантник пошевелился, сказал:

— А мне послышалось: «Может, выпьешь вина».

— Я и говорю: «Может, выпьешь вина?»

— Вот опять послышалось!..

— Да ты, кажется, шутишь! Это к добру! — Я нагнулся и вложил ему в руки флагу.

Раненый повернулся на бок, уперся на локоть, сделал глоток, второй, третий, и десятый, потом часто-часто замигал, открыл глаза, недоверчиво посмотрел на меня, на Полкана, на тот берег...

— Вижу, вижу, вижу! — вдруг радостно закричал он.

Я не меньше, чем раненый, обрадовался его чудесному исцелению.

— Может, и рана твоя... того... кажущаяся? Просто трянуло тебя взрывной волной? Или нет? Куда ты ранен? — с этими словами я опустился на колени, и гвардеец вскрикнул, когда я коснулся его плеча: там была рана.

— Поверни меня к реке, — сказал раненый, и я осторожно повернул его лицом к реке. — Здорово, Дунай! Поклон тебе от Волги!.. — крикнул он, схватился за плечо, и лицо исказилось от боли. — А вон ребята пушку грузят на плот... Эй! Артиллерия! Скоро тронетесь на тот берег? — вновь крикнул он и схватился за плечо.

— Вот дадут третий звонок — и поедет, — весело отозвался кто-то из артиллеристов.

Раненый протянул мне руку, я помог ему подняться. Он подошёл к реке, жадно принял к дунайской водичке.

В это время, откуда ни возьмись, появились две санитарки.

— Кто здесь раненый? — строго спросила старшая.

Я кивнул на десантника.

— А, любушки-голубушки! — обернувшись, пропел раненый и приветливо помахал девушкам рукой.

— Бесстыжие твои глаза!.. Санитара ему! Карету!.. У меня там полсотни раненых, перевязывать их некому... — сердито начала было отчитывать его строгая девушка.

— А вы на него не сердитесь, он тоже раненый, — вмешался я в разговор.

Строгая девушка усадила раненого на камень, спросила:

— Что у тебя?

— Конфузия! — серьёзно ответил десантник.

— Бесстыжие твои глаза!.. Ещё шутит, когда идут такие бои!..

— Он ранен в плечо и контужен, — сказал я.

Вторая санитарка, девушка с косичками, быстро распоролла десаннику рубаху на плече, строгая девушка забинтовала рану.

— А теперь — идёте, — сказала девушка с косичками, взяв раненого за руку. — Ходить можете?

— И ногой не шевельнуть... Совсем разбит.. И видеть плохо вижу, — вдруг застонал он, сделав удивительно страдальческое лицо.

— Как же тогда быть? — остановилась в недоумении девушка с косичками. — Вам нужна срочная эвакуация.

— Вот и пришлите санитарную машину...

Строгая девушка грозно посмотрела на раненого. Глаза её метали гром и молнии. Убирая бинты в сумку, она сказала:

— За тобой пришлём дядю Костю! Он быстро выбьет дурь из твоей головы.

Когда санитарки ушли, десантник хитро подмигнул мне, потом — кивнул в сторону артиллеристов: на плот грузили вторую противотанковую пушку, и к плоту со всех сторон сбегались бойцы.

— Рану забинтовали, порядок! Поплывём сейчас! —

сказал он, счастливо улыбаясь. — Думал, что ослеп. Страшно как испугался! Лежу на спине, головы не повернуть, боль во всём теле... Чувствую, что солнце сильно печёт, ишу его на небе и не нахожу: какая-то чернота, туман, а солнца нет!

— Немудрено испугаться в таком состоянии, — сказал я. — А солнца и на самом деле не видно. Вона пылища какая! И всё это самоходы, да танки, да артиллерия...

— Идёт гвардия! — Десантник крепко пожал мне руку, перекинул через здоровое плечо автомат, подобрал вещевой мешок и «магазины» и пошёл к плоту. Вслед за ним, весело заливаясь лаем, побежал Полкан. Десантник нашёл себе местечко на плоту, взял рыжую дворняжку на руку, и огромный плот, подхваченный быстрым течением, понёсся по реке...

Я вернулся к нашей древней лодке и вскоре тоже переправился через Дунай.

Весь этот и следующий день прошли в боях и победах. Гитлеровцев далеко отбросили от Дуная. На южном участке наши войска овладели высотой «Пик», захватили десяток деревень и завязали бои на подступах к укреплённому пункту противника «Три замка», который горел второй день, озаряя ярким пламенем соседние деревни и окружающие леса.

Уже под самый вечер из района «Трёх замков» я возвращался в штаб дивизии. Дорога безнадежно была забита машинами, танками, пушками. Я свернул и пошёл по полю. Вскоре меня обогнала вереница телег с ранеными. Запряженные трофейными конями, они мягко катили по песчаной почве. Рядом с одной из них я вдруг увидел рыжую дворняжку, «Полкана с Волги! Она бежала высунув язык, задыхаясь, измученная долгой дорогой, припадая на заднюю лапу, ушибленную или раненную где-то...

— Полкан, Полкан! — крикнул я.

Собака остановилась, огляделась по сторонам и снова побежала за телегой. В телеге кто-то приподнялся. Показалась голова в белоснежных бинтах.

— Здорово, друг! — крикнул мне боец и помахал рукой. Я сразу же узнал в нём раненного на берегу Дуная, сорвал с головы пилотку, помахал ему в ответ, успел только крикнуть:

— Что с тобой, дружище?

— Ранили, черти, — ответил он. — Осколок резанул в голову! Но я вернусь, мне только бинты сменить!.. — И голова в белоснежных бинтах скрылась на дне телеги.

Мимо меня проехала последняя телега с ранеными.

— Откуда раненые? — крикнул я вознице.

Возница, широкоплечий здоровяк, нехотя буркнул в ответ:

— Из пекла. Из самого главного замка!

---

---

---

## РУССКИЕ СОЛДАТЫ

**В** хмурый январский день, во время боёв за Будапешт, я с группой наших разведчиков был застигнут пулемётным обстрелом у взорванного фашистами моста Елизаветы. Стреляли с горы Геллерт, с той стороны Дуная.

Мы залегли у парапета набережной. Набережная мгновенно опустела. Не успел только скрыться наш ездовой со своей телегой. Лошадь убили, а его ранили в ногу. Ездовой отполз за угол, где его подхватили наши артиллеристы, лошадь оставалась посреди мостовой.

Лежать у моста Елизаветы нам предстояло долго, а потому каждый достал свой кисет, стал сворачивать цыгарку.

— Не во-время, дьявол, стреляет, — покачав головой, сказал лежавший рядом со мной Михаил Решкин. — Так, пожалуй, и до вечера не переправимся в Буду.

— Пожалуй, что так и случится, — согласился сидевший на корточках Пётр Никодимов.

— А на переправе, говорят, очередь солидная. — Решкин чиркнул спичкой и густо задымил цыгаркой.

В это время у изрешеченного пулями и осколками мизинца и снарядов газетного киоска, стоявшего на перекрёстке, вдруг появились женщина в чёрном и мальчик лет восьми в рваной короткой курточке, в коротких штанишках. Появление их на пустынной набережной, по которой стрелял фашистский пулемётчик, было уж очень неожиданным, и мы все невольно вздрогнули и приутихли...

Я встретился с настороженным взглядом Михаила Решкина.

— Интересно, что они высматривают? — спросил он.

Женщина и мальчик то прятались за киоск, то вновь показывались. Он в чём-то горячо её убеждал, сердился, снова принимался горячо говорить. Но женщина, видимо, мать, держала руку на его плече и только изредка отрицательно качала головой.

— Эй, вы! — привстав на колено, крикнул Пётр Никодимов. — Уйдите отсюда! Убить могут!

Тут мы стали кричать чуть ли не все, и женщина с мальчиком снова спрятались за киоск. Но не прошло и минуты, как они опять показались. А потом произошло вот что: мальчик вобрал голову в плечи, пригнулся и, сорвавшись с места, стрелой пронёсся к телеге. Здесь он упал на колени, в руке у него блеснул кухонный нож, и он стал торопливо отрезать кусок конины.

Над телегой просвистела пулемётная очередь.

— Убьют мальчика!.. — Михаил Решкин швырнул дыгарку в сторону, вскочил на ноги и в развевающейся на ветру плащ-палатке побежал к телеге. Он бежал и внезапно, удивительно легко, падал на свои пружинистые руки, бежал и падал.

— Берёт «языка», — сказал Пётр Никодимов, с восхищением наблюдая за Решкиным.

— Условия, приближенные к боевым, — подмигнул мне сержант Родионов.

Около телеги прострочила вторая очередь. С горы Геллерт хорошо просматривалась набережная, и фашистский пулемётчик держал убитую лошадь на прицеле. Пули так и щёлкали по асфальту мостовой. Когда одна из них ударилась в грядку телеги и расщепила дерево, женщина у газетного киоска заплакала, стала звать:

— Дюрка! Дюрка!..

Мальчик поднялся, огляделся по сторонам, не зная, куда скрыться... Раздалась новая пулемётная очередь. Зазвене-

ли стёкла в первом этаже углового дома. «Очередь» приближалась к мальчику. Пулемётчику-злодею эта охота, видимо, представляла большое удовольствие. Но тут наш Михаил Семёнович Решкин сделал последнюю перебежку к мальчику, свалил его на землю и прикрыл своим телом. Над ними просвистело несколько пулемётных очерсдей, но они лежали неподвижно.

Пулемёт наконец-то замолчал. Наступила долгая пауза. Стало тихо-тихо. Только где-то далеко, в северной части Буды, кипел автоматный бой... Решкин поднял голову, огляделся и начал по-пластунски ползти обратно. Вслед за ним, подражая ему, пополз мальчик. Когда они совсем уже были близко от нас, Пётр Никодимов подбежал к мальчику, схватил его на руки и бегом вернулся назад.

Михаил Решкин поднялся на ноги и, стряхивая с себя снег, пришёл, сел рядом с нами. Впервые мы видели его таким взволнованным, со слезами на глазах. Мальчик тоже плакал. Плакала и женщина у газетного киоска.

В мирное время Решкин работал штукатуром. И не просто штукатуром!.. Достигнув совершенства в своём деле, Решкин искал новое в работе и нашёл его в архитектурной штукатурке и в лепке. Начал с пустяков, с рисунка. Рисовал, что попадётся под руку. Потом—стал лепить. Неразлучный друг Решкина Пётр Никодимов рассказывал, что из глины он лепил такие красивые фигуры, что было одно загляденье. Решкину уже поручали сложные работы. в городском театре он отделывал фасад замысловатой лепкой, когда началась война.

• На фронте Решкин стал разведчиком. Сперва рядовым, потом разведчиком высокого класса. С группой захвата, тёмными ночами, чаще всего в ненастную погоду, — в бурю, в ливень, в снежную метель, — он шёл в поиск и ли в разведку боем. Пробравшись в оборону противника, Решкин действовал увесистой палкой и арканом. От его сноповки и смётки в конечном счёте зависел успех разведки. Подкараулив фашиста, Решкин оглушал его палкой, накидывал

на него петлю, связывал по рукам и ногам и, взвалив «языка» себе на спину, приносил в расположение подразделения. На его счету было 48 «языков», из них 12 офицеров...

Я услышал голос Решкина:

— Малец-то голоден! И мать его голодна...

Скинул с плеча вещевой мешок сержант Родионов, вытащил килограммовую банку мясных консервов и протянул мальчику.

Посиневший от холода, прокопчённый в дымном чаду бункера, мальчик вытер кулаком слёзы, схватил банку, повертел в руках и, убедившись, что она совсем целая, вернул её сержанту: в разрушенном и разорённом гитлеровцами Будапеште такая банка мясных консервов стоила много тысяч пенго.

— Бери. Бери, коли дают, — сказал Решкин, взял банку у Родионова и положил её мальчику на колени.

Мальчик стал растерянно озиаться по сторонам, потом — рассмеялся, поднял банку над головой, показал матери. Та вновь заплакала. На этот раз, видимо, от радости.

Скинул с плеча вещевой мешок Паша Скворцов. Он достал буханку хлеба, полоснул по ней финским ножом и протянул половину мальчику.

Мальчик вопросительно посмотрел на Решкина.

— Бери, — сказал Решкин, — бери, коли дают.

Развязал свой мешок Пётр Никодимов, с которым Решкин почти всегда вместе ходил в разведку. Он достал два больших куса рафинада и тоже протянул мальчику.

Женщина у газетного киоска что-то крикнула своему Дюрке. Но и без его объяснения мы поняли, что она велит ему поблагодарить русских солдат.

А благодарить ещё было рано.

Полез в свой вещевой мешок Миша Козлов, самый молодой из наших разведчиков, и протянул мальчику плитку шоколада. Из вещевого мешка вытащил кусок колбасы Костя Воробьёв.

Мальчик пробовал отказываться, он благодарил и всем низко кланялся.

— Бери, — сказал Решкин...

В это время по набережной пробежали наши связисты, и снова с той стороны Дуная заговорил немецкий пулемёт. Тогда на перекрёстке появились наши артиллеристы. Под пулями врага они выкатили пушку и открыли огонь по горе Геллерт. На третьем выстреле замолчал вражеский пулемёт.

— Подъём! — сказал Михаил Решкин вставая. — Пора и в поход, братцы!

Со всех сторон раздалось: «Пора, пора», и все стали закидывать за плечи свои вещевые мешки и автоматы. Потом мы попрощались с мадьярским мальчиком. Решкин нагрузил его нашими подарками и пошёл провожать до газетного киоска, а мы берегом направились в северную часть Пешта, к нашей переправе через Дунай.

---



Цена 1 руб. 25 коп.